

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 32

1981



Ирина РАКША

**А КАКОЙ
СЕГОДНЯ ДЕНЬ?**

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 32

Ирина РАКША

А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

РАССКАЗЫ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1981

Ирина РАКША

Ирина Евгеньевна РАКША родилась в 1940 году в г. Москве. В 1954 году вместе с отцом, агрономом, уезжает с поездом первоцелинников на Алтай во вновь образующийся зерносовхоз «Урожайный». Десятилетку оканчивает в селе «Советское» Алтайского края. Работает почтальоном, учетчиком, а также разнорабочей на Красноярской железной дороге. В сибирских газетах появляются ее первые стихи, рассказы, очерки. По возвращении в Москву поступает в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. Печатается в журналах «Смена», «Юность», «Молодая гвардия» и др.

В 1962 году Ирина Ракша поступает на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1965—1969 годах в издательстве «Советская Россия» последовательно выходят книги ее рассказов «Встречайте проездом», «Катилось колечко». По окончании ВГИКа работает сценаристом Центрального телевидения. По ее сценариям на киностудиях страны сняты художественные фильмы «Бабье лето», «Арбузный рейс», «Веришь, не веришь», «Однажды летом» и др.

С 1970 года Ирина Ракша — член Союза писателей СССР. Ее новые повести и рассказы опубликованы в сборниках «Весь белый свет», «Далеко ли до Чукотки?», в роман-газете и др. Ряд повестей и рассказов писательницы переведен на иностранные языки и языки народов СССР.

ЕВРАЗИЯ

В. М. Шукшину

На Пушкинской площади на мокрой от капли стене он увидел наконец вывеску: «Переписка на машинке, 4-й этаж, кв. 8, Корнеева Н. В., вход со двора».

Под низкой аркой прошел во двор-колодец, полный детского гама и талого снега.

Постоял в воротах, оглядывая двери подъездов, спросил ребят, с пыхтеньем гоняющих шайбу:

— Квартира восемь — это в какую дверь?

— Первое парадное, — даже не повернувшись, сказал один и ударил по воде клюшкой.

Он быстро поднимался по пологим, некогда белым ступеням большого глухого подъезда. Высокие окна на площадках между этажами были пыльны, пахло кошками. Эти старые дома ему не нравились. Не такими он представлял себе дома в Москве, да еще в самом центре. Он шел, перехватывая чемоданчик из руки в руку, и боялся, уже в который раз, услышать с порога: «Нет, нет, молодой человек. У меня свси клиенты и много работы. Я посторонним сейчас не пишу. Пойдите на Тверской. Может быть, там...» А на Тверском через цепочку сказали: «Нет, что вы, голубчик, — «сегодня»! Я так загружена... Торопитесь? Ну, нынче все торопятся. Век такой!»

Внизу гулко хлопнула дверь. Кто-то поднимался по лестнице.

На косяке двери номер восемь было несколько кнопок разного цвета. Можно было звонить: Шаровой — один раз, Гольбергам — два, Скориным — три. Была и отдельная кнопка — «Только Мискину». Судя по всему, Корнеева здесь вовсе не проживала. Для верности он решил еще раз прочесть список, но услышал:

— Вы к кому?

Снизу поднималась женщина в берете, в черном пальто, с полной сумкой продуктов.

— Мне к Корнеевой.

Она остановилась на ступеньке, увидела его лохматый трехпалец, ботинки на меху:

— А вы, извините, кто?

— Шульгин, — просто сказал он — Я насчет переписки.

— А-а... — Она сразу без интереса поднялась к двери. — Я все хочу снять эту доску. Там, правда, болты. — Она торопливо рылась в сумочке. — Видите ли, ее нет.

Он огорчился:

— А вы не подскажите, где мне еще...

— Не знаю, не знаю. — Она наконец нашла ключи, звякнув, стала отпирать английский замок.

Он поднял чехол, больше ждать было нечего.

— Видите ли, — сказала опять женщина. Она нервничала, никак не могла отпереть замок. — Видите ли, она умерла. В январе умерла. Он не знал, что сказать на это, постоял и все же шагнул к ступеням.

Вдруг женщина оглянулась:

— А вы ее знали? Она вам печатала?

— Да нет, — пожал он плечами. — Просто мне посоветовали. мол, она может.

— О-о, — женщина горько вздохнула. — Она все могла, все. Ах, этот проклятый ключ...

Ему стало неловко.

— Давайте я, что ли, — предложил он.

Она протянула ключи на колечке:

— Пожалуйста, вот этот желтенький, а то каждый раз мучаюсь.

Он оглядел его и почти без усилий выпрямил ножку.

— Все, порядок.

— Все? Не может быть. — Но замок щелкнул, и дверь открылась. — Вот спасибо.

— Да чего там, — буркнул он и заспешил вниз.

Он шел по стертым ступеням и не знал, куда же теперь идти. Должна же быть в Москве хоть какая-нибудь контора по переписке. Не может же человек вот так, целый день, бегать в поисках, когда у него в Москве столько дел и всего одни сутки. Он не дошел до третьего этажа, когда над ним гулко раздалось.

— Послушайте, молодой человек, — женщина перегнулась через перила, — я вам советую на Тверской сходить.

— Я уже был. — Он глянул вверх. — Я все исходил. — Ему все же стало теплее от такого внимания.

— И куда же вы теперь?

Он улыбнулся:

— Да не знаю. Где наша не пропадала!

— Скажите, а много там у вас?

— Чего? — не понял он.

— Ну, текста? Перепечатки?

— Да чего ж много? Тетрадка.

— Ну, поднимитесь,— велела она и скрылась.

Кажется, ему везло! Он взлетел на четвертый и шагнул в открытую дверь.

В темном коридоре пахло луком, пылью и старой обувью.

— Проходите, пожалуйста,— услышал он издали ее мягкий голос.— Моя лампочка вчера перегорела.

Он наткнулся на что-то твердое.

— Идите сюда,— звала она из темноты.— Сюда, на звук голоса. Сейчас я дверь открою.

В глубине возник неясный свет, и он пошел прямо туда.

У него зарябило в глазах, потому что высоченная комната была заставлена и завешана множеством всяких безделиц — картин в золоченых рамах, пестрых тарелок, стекляшек и ваз на рояле, буфете, столе.

«И для чего человеку столько ненужных вещей?» — думал он. Но среди всего этого, над столом, он увидел карту. Два земных полушария, как будто два синих глаза, серьезно глядели в комнату.

— Присаживайтесь.— Она ушла куда-то за шкаф.— Вам жарко, наверно, в такой теплой шапке.

Он промолчал.

— Я, правда, не машинистка, — говорила она за шкафом, — но все-таки покажите мне рукопись, — и появилась оттуда совершенно незнаваемая, совсем еще молодая, наверно, его ровесница, в белой блузке, с темным пучком волос, чем-то похожая на его первую школьную учительницу. — Что же это вы на полу? — Она смотрела, как он копается в чемодане. — Вот вам стул.

Он хотел пройти, но побоялся задеть что-нибудь.

— Да нет, не стоит.— И протянул тетрадку.

Она подошла, легко двигаясь между мебелью.

— Если б я знал, что в Москве так трудно, мне б у себя в конторе перепечатали.

— Это где, у себя? — Она открыла тетрадь.

— Акташ, на Алтае. Может, слышали?

Ей не хотелось его обижать:

— Как будто бы...по радио.

— Во-во! В прошлый месяц передавали. Мы обязательство взяли.

— И почерк у вас разборчивый.

— Вот и я говорю, разборчивый. А они: нет да нет.

— Текст не технический.

— Не технический.— Он ревниво следил за выражением ее лица.— В общем...это стихи,— и покраснел.

Но она не засмеялась и даже не усмехнулась, пригладила волосы и, встретив его тревожный взгляд, серьезно сказала:

— Ну и отлично. Оставляйте. И заходите через день. Вам в трех экземплярах?

— Как через день?— не понял он.— Мне нужно сегодня.

— Ну что вы, голубчик.— Она сразу стала похожа на ту, с Тверского.— Это же нереально,— стала выкладывать из сумки хлеб, сырок, бутылку молока.— Тут страниц сорок, а я не машинистка. Я просто хотела...

— Дайте.— Он быстро шагнул вперед.— Дайте сюда,— и взял тетрадь со стола.— А я думал, вы правда...— Он раскрыл чемодан.

— И нечего горячиться.— Она отставила сумку.— Вам даже за день никто...

— Ничего, обойдусь.— Пыхтя, он засовывал тетрадь.

— Но у вас же безвыходное положение.

Он увидел, как ее ноги на каблучках подошли и стали рядом.

— Ну, подождите.— Она протянула руку.— Я попробую. У меня завтра нет уроков. Быстро не обещаю, а часам к девяти вечера позвоните.

Он вздохнул, сидя на корточках, поглядел на нее снизу вверх, на такую чистенькую, беленькую.

— Вот вам мой номер.— У рояля она склонилась над листком.— Я ведь только из-за мамы. Она бы взялась. Она всегда всех выручала.

Он шел за ней по коридору. Сейчас тут было светлей. Под потолком теплилась лампочка. В простенке между вешалками кто-то, уткнувшись в стену, разговаривал по телефону.

Открыв дверь, она пропустила его на лестницу:

— Позвоните — спросите Женю,— и улыбнулась лукаво.— А вам в такой шапке не жарко?

— Вы тетрадь не потеряйте,— предупредил он.

Она засмеялась и захлопнула дверь. А смех остался, понесся по этажам. «Далась ей эта шапка. Шапка как шапка, вполне нормальная, из сурка. Еле достал в Барнауле». Он даже гордился ею.

Он шагал по широкой весенней улице к телефону, мимо Юрия Долгорукого. Где-то на Алтае лежали снега, а тут асфальт был почти сухой и у деревьев под решетками блестели лужи. Сколько раз, работая в Акташе, да, пожалуй, и раньше, учась в Томске, а скорее, еще раньше — мальчишкой в алтайской деревне Сетовке, он мечтал побывать в Москве. Читал о ней, знал, видел. Слышал разное. А вот чтобы самому, своими глазами и своими ногами!.. На площади у памятника копошились сизые сытые голуби. Запросто садились основателю Москвы на плечо. А на Алтае голуби дикие и больше белые. Сядет пара таких на свежую пахоту — заглядишься.

Вокруг Моссовета поднимались дома-громадины. Он с радостью узнавал их. Вот это дома так дома. Вот эти были ему по душе. И кто, интересно, живет в них? Вон шторы висят, форточка открыта. Наверно, очень заслуженные люди. Министры или, может, их замы, или, скажем, писатели. И Вася весело вообразил — вот зайдет он к ним, познакомится, потолкует за чаем о делах, о жизни. И они будут с интересом слушать инженера с периферии. Как у них в Акташе, входи в любой дом, только рады будут. Но от этой нелепой мысли ему стало совсем грустно. Все здесь, в Москве, ему было пока чужим, холодным, к нему непричастным. Он-то Москву любил, а она его — нет. И это ему было очень обидно. Она даже не знала, что существует такой Вася Шульгин, с Алтая, что ходит по ее тротуарам и имеет к столице свои претензии. А претензии у него уже были. В редакции не взяли стихи. Даже читать не стали, сказали: обязательно на машинке. Музей Маяковского был закрыт. И самое главное, в министерстве ему отказали в новых буровых станках высокой производительности.

Он еле выпросился в эту командировку. Главный инженер Лашков сам не поехал, послал его, молодого специалиста, потому что надеялся, тем более что сверхплановое обязательство рудник уже взял на собрании. А тут вдруг такое!.. Вася ходил, убеждал, доказывал. Во всех кабинетах клал на столы бумаги, потом в сердцах забирал их: «Дайте сюда!» И поднимался на лифте все выше. И на шестнадцатом этаже выйдя из очередной комнаты в коридор, он остановился угрюмый и вдруг — увидел окно. И за этим широким светлым окном, в синей дымке — Москву, такую большую, спокойную, раскинувшуюся далеко-далеко. Он был поражен этой необычайной картиной и, сразу забыв все неприятности, подошел вплотную к стеклу, уперся в него ладонями и долго стоял так, глядя вниз. Вот так птицы, наверно, летят над городом, косяком или в одиночку, и видят сверху дымы, заснеженные скверы, людей... Потом он опять ходил по отделам, «выбывал» свои буровые станки. Но уже не спорил, а все поглядывал в ясные окна и думал: «Как это люди могут работать тут, как они могут сосредоточиться, когда за окном такая красота?» Наконец ему в главке сказали: «Ладно, в третьем квартале получите!» Плохо, конечно, что в третьем, но это уже было что-то. Оставалось только позвонить Лашкову в Акташ, спросить, как быть дальше.

Шагать широко, как он привык, здесь было нельзя. Он все наткался на чьи-то спины или на встречных. И, глядя на этот поток, все удивлялся: сколько народу ходит без дела! И это по одной только улице. А что же по всей Москве? А сколько еще слоняется по магазинам? Ну, допустим, отбросить командированных — это все люди дела. Ну, можно еще отбросить пенсионеров — заслуженный отдых. Хотя вон та тетка с собачкой в руках вполне могла бы работать.

Да хоть бы и у них, на руднике. Сидела бы на проходной, чаи гоняла — и то польза. А остальные тут что? Ходят себе вразвалочку, это в понедельник-то. В отпуске все они, что ли? Вон та гражданочка, например, или парень... этот и вон тот. Вот бы их всех, да разом, по их рабочим местам. Во пользы бы было!

Центральный телеграф он узнал сразу, еще издали. Темный такой, лобастый и с голубым глобусом, как глаз циклопа. И Вася Шульгин, довольный, пошел к переходу.

Женя перенесла с подоконника на письменный стол тяжелую пишущую машинку, сняла клеенчатый чехол. «Континенталь», мамина добрая, старая «Континенталь». Провела по клавишам пальцами. Сколько на ней писано-переписано за целую жизнь. Разных статей, материалов. И даже когда-то мама печатала диплом Казакову. Правда, это было очень давно, и Женя его не помнила. Но мама этим гордилась и потом все книжки его искала по магазинам.

Она зажгла настольную лампу, хотя был еще день. Достала бумагу. Вспомнила, что последний раз печатала поурочный план в третьей четверти. Полистала коричневую тетрадь. На первой странице было твердо написано «В. Шульгин». Чудак какой-то. Прикинула, что если по двадцать копеек за лист, то получится как раз на три мотка шерсти. И заложила в каретку первую страницу — в три экземпляра.

На телеграфе было чисто, светло. Длинным рядом блстели стекла кабин. Громкий голос невидимой женщины вызывал то и дело: «Нальчик — двадцать вторая», «Тбилиси — семнадцатая». Было очень жарко. Правду сказала эта, как ее... Женя про шапку. Он снял ее, положил сверху на чемоданчик.

Ждать разговора с Лашковым еще предстояло долго. Может, час, может, два. Связь с Акташем была трудной, многоступенчатой. Сперва дадут Барнаул, потом Бийск, потом Горноалтайск, а потом уже в Акташе сонная телефонистка Люся будет долго накручивать ручку, будить дома главного инженера. Потому что Алтай на другом меридиане, там все уже спят, и только в горах сам рудник гудит и работает.

«Тбилиси — восьмая кабина». Что-то очень уж часто вызывают этот Тбилиси. А в Акташе Лашков осторожно, чтоб не будить жену, поднимается на звонок и, стоя босиком в коридоре, скажет привычно тихо: «У телефона». Ему день и ночь звонят: рудник есть рудник. Но тут вдруг — Москва. И он обрадуется, услышав голос любимого Васи — молодого специалиста. А этот специалист его огорошит. И тогда Лашков будет чуть ли не плакать в трубку: «Вася, ну как же ты так?.. Как же в третьем квартале?.. Ну, хоть во втором или в мае хотя бы...» Потом попросит: «Ты вот что, срочно иди к Буракову. Он сразу поможет». А Вася вздохнет: «Вот Бураков и сказал мне,

в третьем». А Люся-телефонистка будет, конечно, подслушивать, переживать. Ах уж эта Люся, с ее вздохами, взглядами. Все прически меняет, а бегает в старой шубейке. И при встрече в столовой или на улице сразу краснеет. Смешная девчонка.

Пишущая машинка сухо трещала в комнате. Сосульки хрустальной люстры тихо позванивали под потолком. Накинув на плечи платок, Женя быстро печатала, не глядя на клавиши, не отрывая напряженного взгляда от строчек: «Зимой на Чуйской горной трассе Восходы красные, как праздник, Апрель березовый, сиреневый, А лето — марьины коренья...»

Она печатала, все больше волнуясь. Стихи словно озаряли ее. Быстро бежали строки. А за стеклом буфета качал фарфоровой головкой япончик, как будто далекий алтайский ветер гулял по комнате. «В саду насквозь синицами Пробита тишина, Над белыми страницами Сижу я дотемна. Раздвинув веток лапы, Мальчишки понайдут И яблоки, как лампы, Повывернут в саду».

Страница кончилась, она перестала печатать и стала читать. Потом наконец заложила новую страницу в четыре экземпляра. Один — для себя. пожалела, что раньше не так печатала. И снова глаза в тетрадь, как в его душу: «Калиною, малиною Зарос июньский сад. Идут дожди недлинные, Всего на полчаса. А после хлещут радуги, Как из брандспойтов, вверх...»

В дверь постучали. Она опустила руки, мгновение сидела так, не шевелясь. Аккуратный стук повторился.

— Да, да,— она встала, зажгла люстру.

Дверь приоткрылась, и заглянул сосед Мискин, пожилой такой кандидат, в темных очках:

— О-о, вы заняты? Ради бога, простите, но я — за газ,— он разложил на рояле счета и мелочь.— Скорины сдали, а эти Гольберги! Прямо не знаю, что с ними делать.

— Сейчас, сейчас.— Она порылась в сумочке.

— Нет их как нет. Не понимаю, сколько же можно им отдыхать? Уже двадцать пять дней...

Она положила мелочь.

— И за Гольбергов тоже придется внести. Всем по восемь копеек,— он поправил очки,— потом взыщем.

— Зачем же взыскивать, они же не жгут.

Он развел руками:

— Но, Евгения Пална, есть же порядок. Вот когда Лялечка приезжала...

— Хорошо, хорошо, пожалуйста.

Он взглянул на настольную лампу, потом вверх:

— Это что же у вас как в праздник, прямо иллюминация?

Она молча стояла.

Он поклонился с улыбкой:

— Ну что ж, извините, Евгения Пална, извините,— и скрылся за дверью.

Она подумала и кинулась к выключателю. Щелкнула раз, другой. Пусть горят две лампочки! Пусть все четыре! Пусть будет иллюминация!

Из телефонной кабины он вышел взмокший. Все было, как он и предполагал. С той только разницей, что Люся отыскала главного инженера не дома в постели, а в конторе на руднике. И он не плакал в трубку и ни о чем не просил, а все уговаривал Васю — молодого специалиста — не убиваться там очень-то, а скорее приезжать, потому что дел и до третьего квартала будет по горло.

На улице Горького был уже вечер, светились окна и фонари. Приморозило. Сегодня утром из гостиницы Вася ехал по этой улице на такси в Дом-музей Маяковского. Выйдя в маленьком переулочке за Таганкой, он долго стоял на тротуаре напротив дома, опустив чемоданчик у ног. Дом был розовый, двухэтажный и тихий, забко подрагивали деревья за чугунной оградкой. Вася знал про этот дом все. Ну, может, не все, но все, что можно было когда-нибудь вычитать в библиотеках. И вот этот дом сам смотрел на него рядом темных окон. Было по-весеннему холодно, пасмурно. Мимо дома спешили ранние служащие, рабочие. Шаги их громко раздавались в переулке. Вася вошел во двор и прочел на стекле закрытых дверей: «Вторник, четверг, суббота, с 12 до 20». А сегодня был понедельник.

Он отошел от двери подальше и повернулся лицом к дому, стал смотреть в его спящие окна. Два из них на втором этаже, вон те, крайние, были окна рабочего кабинета. Вася знал, какой там за окнами стол, какое кресло и зеленая настольная лампа. Эта лампа когда-то зажигалась по вечерам, и свет в окне был зеленый, как под водой. Перед домом росли липы — ветви в серое небо. Вася оглядывал их и неожиданно увидел Маяковского. Он стоял на ветру, среди голых деревьев, сунув руки в карманы пальто, и о чем-то думал. Стоял он совсем недалеко от Васи, у мерзлой подтаявшей клумбы, и ветер задувал воротник пальто. Так и стояли они задумчиво друг против друга — Вася, в теплой лохматой шапке, с чемоданом в руках, и Маяковский — толстой немного повыше, чем на черном граните.

По улице Горького по глади асфальта широким потоком плыли огни машин. Вася подумал, что надо поесть, весь день пролетел без обеда. Но сейчас в ресторанах наверняка битком и, конечно, все долго. А у него еще были разные планы на этот вечер. И потому он, вспомнив соседа по номеру, зашел в большой гастроном и быстро, без всякой давки взял любительской колбасы, сыру и бутылку «особой». Своего

соседа он еще толком не видел: утром тот спал. Вася только заметил его новенький черный портфель. Ему бы тоже такой хотелось, но искать совсем уже не было времени. Еще выйдя из главка, очень расстроенный, он купил в агентстве билет на 0.20... Колбасу и бутылку он затолкал в карманы и зашагал в гостиницу «Центральная».

В его номере за столом в красном свитере сидел сосед, пожилой такой, лысоватый дядечка, и очень обрадовался:

— Ну что, явился? Садись давай. Садись, труженик, заправляйся. Я слышал, как утром ты тут начищался.

Перед ним лежала нарезанная ломтями любительская колбаса, сыр и стояла бутылка «особой».

Вася выложил свою снедь.

— Добавочка, — снял шапку, стал разматывать шарф.

— А шапочка у тебя ничего, на зависть. Только нам, южанам, она ни к чему. — Он наливал в стаканы. — Ну что, за знакомство, значит? Гаврилов моя фамилия. По снабжению я.

— Шульгин.

Они чокнулись.

— Ну, как в столице дела? Разобрался?

— Да нет еще. — Вася жевал за обе щеки. — Я ж тут впервые.

— Да ну? — удивился Гаврилов. — А я, брат, тут по неделям торчу. Всех дежурных знаю.

— Завидую. У меня-то расстройство одно. Времени мало, не знаешь, куда лучше пойти.

— Ну, это ты зря. — Он поддел колбасу перочинным ножом. — Столицу надо уметь использовать. Понял? Ну что вот у нас Евдокимов? Ездит в Москву со списком. Составит, знаешь, целую грамоту от всех отделов и бегает. Целыми днями из ГУМа не вылезает. То чулки, то штаны. Ну, что это? Срам один. — Он поскреб ножичком сыр — Меня вот тоже жена сумку просила. Но я сказал — нет, и точка. Я столицу по-своему использую, культурно. И тебе советую. Вот, пожалуйста. — Он вытащил из кармана пачку билетов, беленьких, голубых. — Это я сохраню. Я им всем нос утру. Пожалуйста, «Марица», «В эту душную ночь», «Антимиры». А это вот в Театр теней. Понимаешь, артистов не видно, одни тени. И только в конце их показывают. Представляешь! Э!.. А на завтра у меня два билета, на утро и вечер. — Он подумал и предложил: — Могу уступить «Жизель», на вечер.

— Да не стоит. — Вася не глядел на него, от красного свитера в глазах прямо круги пошли.

Сосед посмотрел с сожалением, налил в стаканы:

— Не любишь искусство? Это ты зря. Ты же — молодежь. — Он повертел еще какой-то билет. — Вот тоже хороший спектакль был. «На дне». Только скучный очень. Ну давай, что ли, выпьем за

искусство.— Они выпили. Гаврилов разглядывал Васино молодое лицо, улыбался лукаво.— И за кордон ты, конечно, не ездил?

Вася отодвинул еду. Аппетит пропал.

— Не ездил.

— А я, брат, в Париже бывал.— Он глядел испытующе. — Вот свитер там брал.— И весело пригладил затылок. — Между прочим, имею что рассказать. Имею, только это, брат, разговор особый...

Но Вася уже поднялся.

— Ты куда же?

— Да тут одно дело есть. К машинистке надо.

Гаврилов подмигнул:

— Свой Париж, значит? Ну ступай, ступай.— И еще налил себе из бутылки.

И пока Вася одевался и запикивал в чемоданчик мыло и щетку, громко рассказывал:

— Представляешь, сегодня встретил я в торге приятеля. А он говорит: «Я слышал, ты уже умер». Как тебе это нравится? А я говорю: нет, брат, шалишь. Я еще жив. Я тебя еще переживу. Понял?— выпил и закусил колбасой с ножа.

Женя быстро раскладывала на рояле страницы по экземплярам. Первый, второй, третий и сверху — коричневую тетрадку. Четвертый бережно спрятала в ящик стола. На часах уже было девять, и она с волнением прислушивалась к звукам за дверью. Но телефон молчал. Она живо сняла халатик и тапки и бросилась к шкафу. Сперва хотела надеть серое платье, с норочкой. Но это могло показаться вычурным или парадным. Лучше черное с белым кружевом. Но оно ее очень худило. А может, синее? Она перебирала платье в шкафу, как будто листала книгу. И обязательно — туфли, на каблуках. Это стройнит. Она достала все-таки черное, прикинула, погляделась в стекло серванта. По поводу своей внешности Женя не обольщалась. У нее была эта редкая для женщин черта. Порой она даже не любила себя. Свою шею, и узкие плечи, и черные волосы, и даже уши, в общем, вся она была в маму. Но мама всегда ее успокаивала: «Были бы, Женечка, кости. Мясо нарастет».

Женя с волнением глядела в стекло серванта, в нем все хорошо было видно. Черное?...А может, все-таки серое? И тут, кроме себя, она увидела за стеклом старого маминоного япончика. Он смотрел и укоризненно качал головкой. И Женя растерялась и отступила. «Что же это такое, зачем я все это делаю?.. Сейчас он позвонит, а у меня такой идиотский вид и такое лицо...»

Но он не собирался звонить. Он шел без звонка мимо вывески «Переписка на машинке», через арку, во двор-колодец, уже притихший. Только ледок хрустел под ногами. В общем, Вася был

неспокоен. Теперь эта незнакомая женщина прочла его каждую строчку, знала каждую мысль. И зачем вообще он все это затеял? Стихи, конечно, слабые — это ясно. Это только Лашков и его жена в Акташе могут слушать его целыми вечерами, ну, еще дома, в деревне. И с чего он решил, что в редакции может понравиться? Да гут навалом таких тетрадей, со всей страны, он сам видел — целыми кипами по шкафам. Во всяком случае, он сейчас заберет все, расплатится и уедет. Поскорей улетит из этой Москвы. Правильно говорил ему кто-то, что тут жить невозможно, что тут в суете и человека не видно.

У дверей он снял шапку и позвонил наугад. Открыл ему Мискин со сквородкой и в ожидании строго смотрел сквозь очки. Но сзади раздался голос:

— Это ко мне, ко мне, проходите.

И Мискин отступил, удивленный.

Войдя за ней в комнату, Вася хотел по ее лицу понять, как тут его стихи — понравились, нет? Но она, в той же беленькой блузке и мягких тапочках, легко двигаясь между мебелью, старалась не смотреть на него, и он сразу понял, что — плохо.

— Вот я приготовила вам в трех экземплярах, пожалуйста.

Они стояли по обе стороны роаяля.

— Конечно, могут быть опечатки, — говорила она мягко и монотонно. — Но вы вычитайте. Я не успела. Получилось тридцать восемь страниц.

Он опять раскрыл на полу чемоданчик. В дверь аккуратненько постучали:

— Евгения Пална! Чайник!

— Я сейчас, — сказала она и вышла.

Он запрятал все в чемодан. От этих бумаг крышка еле закрылась.

— Ну вот, — вошла она. — Давайте чай пить.

«Жалеет», — подумал он.

— Да не стоит Мне скоро на самолет.

Она тревожно взглянула:

— Во сколько?

— В ноль двадцать.

И она просияла, сказала радостно:

— Так это же целая вечность! Снимайте-ка ваше пальто.

А я сейчас заварю. — И зазвенела чайником.

Но он за шапку:

— Да не стоит. Я вот вам деньги тут положил... — И замолчал, потому что увидел, как руки ее опустились и замерли на столе и вся она сразу поникла. — Вообще-то время, конечно, есть. Это точно, — он потоптался. — Но просто как то неловко. Я ж незнакомый...

Она улыбнулась и мягко сказала:

— Ну, какой же вы незнакомый? Помните, как там у вас хорошо: «Зеленые и розовые плывут над миром дни, как туеса березовые, стоят под лавкой пни». Или вот это: «Я верю все больше и больше, что сказкам дано сбываться...»

Он впервые слышал свои стихи от кого-то. Это было так неожиданно и приятно, что сразу стало теплей и уютней в этой светлой высокой комнате, среди побрякушек и штор. И маленькая хозяйка позванивала посудой:

— А чай у меня из Кореи, с цветами жасмина. Вы такого не пили, я уверена. У моей подруги муж оператор по хронике. Всюду ездит. Так она меня иногда балует.

Они сидели за круглым столом, под люстрой, и пили чай. Он действительно пах жасмином. Необычно и тонко.

— Из этого подстаканника давным-давно никто не пил,— грустно улыбнулась она.

Он держал в ладонях этот теплый большой подстаканник и слушал ее удивительно нежный, прекрасный голос.

— А я завидую всем, кто ездит по свету. Я нигде не бывала, только когда-то на практике в сельской школе.— Она положила ему варенья.— Прошлым летом обещала своим ребятам на Волгу и не смогла из-за мамы, она очень болела.— Руки ее были маленькие, проворные. — У меня их тридцать два человека.

— Трудно, наверно? — он все глядел на нее.

— Да по-разному. Вот на днях кто-то порвал карту Евразии. Придется собрание проводить. Я, конечно, знаю, кто это. Такой отчаянный мальчик, сладу с ним нет,— и засмеялась.— Мы вчера сочинение писали, так знаете, что он придумал?— Она прошла к окну и полистала стопку тетрадей.— Вот, пожалуйста. «Пессимизм Печорина, его циничное отношение к святыням, его холодный скепсис отмечены печатью рассудочной рефлексии». Представляете? И ни одной ошибки!

— Я тоже отчаянный был,— он усмехнулся, позвенел ложкой в стакане.— И учился плохо. А Евразия мне почему-то с детства казалась желтым таким, горбатым верблюдом, который улегся в синее море.

Она, задумчивая, подсела к столу. Он взглянул на нее и вдруг увидел, что эта прическа и белая блузка ей очень идут и что она прекрасна.

— А знаете, как меня дети в школе зовут? — она засмеялась.— Евгеша. Да, да, Евгеша.

Он кивнул на роля:

— Вы, наверно, хорошо играете?

— Нет, не играю.— Лицо ее сразу стало серьезным.— Это память.

— Мама играла?

— Нет. Папа играл, еще до войны. Вам подлить горячего?— и потрогала фарфоровый чайничек.

— Да, да, конечно,— сказал он бодро.— Чай прекрасный, первый раз такой пью (она лила машинально). И вообще в Москве мне понравилось.— Ему так хотелось развлечь ее, оживить.— Я вижу, у вас так любят животных, прямо носят их на руках.— Но она все молчала, и он добавил:— Собаки скоро ходить разучатся.

Она улыбнулась:

— Вы вот все шутите. А я, правда, хотела кошку себе завести.

— Кошку? Простую кошку? — он лукаво поморщился.— Ну, нет. Уж лучше дельфина. Сейчас очень модно дельфинов дрессировать.— И загадочно улыбнулся:— А давайте-ка лучше я вам с Алтая снежного барса вышлю? Посылкой, а?

Она смеялась в ладошку, совсем как маленькая. И он опять увидел за ее спиной два больших земных полушария, которые смотрели в комнату, прямо на них. И где-то вон там, в правом коричневом зрачке, находился его Алтай, его рудник и ждал его.

И Вася Шульгин поднялся:

— Ну вот. Мне пора,— и улыбнулся ей с грустью и нежностью.

Она тоже встала. Звякнула чашкой. Спросила растерянно:

— Вы так вот и уезжаете?.. А как же ваши стихи?

Он прошел к двери, стараясь не задеть ни за что.

— Стихи?— встряхнул свою лохматую шапку, вздохнул:—

Какие там стихи? Стихийное бедствие.

Она с волнением смотрела, как он одевается.

— Нет, я серьезно,— и быстро подошла.— Их же нужно показать. Обязательно показать. По-моему, стихи хорошие...

Он усмехнулся, накрутил шарф:

— Ничего, в другой раз как-нибудь,— и поднял чемоданчик.

— Зачем же в другой? Ну, хотите, я это сделаю? У меня есть экземпляр.

Он смутился:

— Ну что вы, зачем? — старался не смотреть на нее, чтобы не видеть светлого и уже милого ему лица, взволнованных глаз. Сказал, глядя в сторону:— Вы не очень ругайте этого... Который карту порвал. Он случайно.— И все не знал, может ли он протянуть ей руку.

В коридоре Женя захлопнула за ним входную тяжелую дверь и мимо удивленного Мискина влетела в свою комнату. Теперь в этой комнате все, все было по-другому... Будто стены раздвинулись, и каждая вещь, каждая мелочь вдруг прояснилась, зазвенела, заговорила. Женя опустила руки на крышку рояля, в темной глади его увидела себя и, может быть, первый раз в жизни пожалела о том, что не может играть.

Вася Шульгин шел по вечерней морозной улице Кругом было светло, как в праздник, и дышалось ему легко и свободно. Он с грустью думал, что через два часа ему уже улететь отсюда. И в последний раз он увидит этот город под крылом самолета, весь в россыпи мелких огней, как непогасший костер. А потом всю ночь темный горизонт будет плыть навстречу, пока наконец над снегами не встанет заря. Вася шел мимо светлых витрин и подъездов. И строчки стихов, слово за словом, легко перестраиваясь, стали возникать в нем, в ритме его шага, и получалось примерно вот так: «Спал город дымный, дивный. А ночью в облака сорвался реактивный, как спичка с коробка...» Наверно, надо было бы остановиться и записать. Но стихи так часто рождались в нем, а он так редко их записывал, что и теперь не стоило. «Но город не проснулся, он очень крепко спал. Лишь плавно повернулся и под крылом пропал...» По пустынной улице Вася Шульгин не спеша шагал к центру, к самому центру России, к Красной площади. Он еще днем все думал об этом, но хотел впервые прийти туда ночью, когда тишина, когда башни освещены и четко слышны шаги и куранты.

Хрустел ледок под ногами, а в темном небе над крышами плыла луна, такая ясная, деревенская. И кругом светились сотни медовых окон. В каждом были свои судьбы и хлопоты. Но среди них теперь было одно окно, где его знали и помнили, куда можно было прийти и запросто выпить чаю, как у них на Алтае.

СКАТИЛОСЬ КОЛЕЧКО

Летняя ночь на саянский поселок Алатау опустилась холодная, черная. Но от будки стрелочника, от первого поста, станция была видна вся, как на ладони.

Разнорабочая Валька в майке, в закатанных брюках и толстая стрелочница Зюзина в путевой шинели и фуражке сидели на ступеньках, спиной к светлой распахнутой двери будки, и пели вполголоса:

Скатилося коле-е-чко со пра-а-вой руки-и...

Валька тянула низко, красивым грудным голосом. Вся ушла в песню, чувствовала каждый звук. А Зюзина подхватывала тоненько, по-бабы:

Забилось сердце-е-чко по ми-илом дру-у-жке.

У Вальки на коленях лежала книжка. И Валька упиралась в нее острыми локтями:

На-а-дену я пла-а-тье...

Песня была протяжная, старинная. Она текла от будки стрелочника по всей пустынной станции, над тихими синими огнями у рельсов, над перрончиком при вокзале, над холодными черными составами.

Ох, надену-у я пла-а-тье, к милому пойду-у...

Валька вела грубовато, раздолжно и чуть небрежно, от щедрости голоса. А Зюзина выводила старательно, аккуратненько:

А месяц укажет доро-о-жку к не-е-му...

Вальке вдруг расхотелось петь с Зюзиной. Не так она пела эту песню, совсем не так, не широко, не глубоко, как семечки лузгала. Но все же Валька тянула еще для порядку:

Пускай люди судят, пускай го-оворят...

Она тянула, а сама глядела вдале, щурия глаза. Высоко над станцией раскидывалась крыша из света: с вышки вниз светили прожектора. Если же глаза распахнуть — ночь становилась густой, и свет струился жидкий, бессильный. А выше небо и обступившие саянские сопки сливались в одно черное, бесконечное, немое пространство, и не верилось, что где-то есть города со множеством огней и светлыми, как днем улицами. Валька опять щурилась и сквозь ресницы следила, как этот мрак во все стороны пронзали лучи, яркие, острые. Они доставали до самых гребней, поросших тайгой, до самых туч. Валька думала: «Про это, наверно, песню сложить можно, про это сиянье. Только где слова такие найти? А может, и есть уже? Интересно узнать бы...»

А Зюзина ничего такого не видела. Ни крыши из света, ни тьмы, ни лучей, и глаза она никогда не щурила. Она гортанно и тонко тянула:

Сказали, мил по-о-мер...

Валька хлопнула по голым своим плечам:

— Мошкá тут у вас злая.

Зюзина замолчала, вздохнула печально:

— Эх, Валюха ты, Валенок. Вот нет в тебе чувствительности. Шла бы ты лучше спать.

Валька поежилась:

— Не усну все равно. Не спится мне летом. Не спится.

Зюзина искоса оглядела ее, нашарила в кармане шинели орешки:

— А ты, ишь ведь, всего месяц тут, а уж по-нашему — «мошкá».

— А чего ж,— Валька книжку открыла, полистала.— Когда наш ремпоезд в Канске стоял, так я сразу по-ихнему болтала. В поселок, бывало, на танцы пойдешь, как своя. Мы там тоже дорогу ремонтировали, на месяц раньше кончили,— она стала читать оглавление сверху вниз.— Вот скажи, ты ела...— прочла раздельно:— «Арти-шоки», а?...Нет, вот лучше... «сам-бук». Самбук ела?

— Чего-чего?— не поняла Зюзина.

— Ну, самбук? Самбук из абрикосов ела?

— Да ну тебя!— махнула рукой Зюзина. Потом засмеялась тихонько, в книжку через плечо заглянула:— Это ж надо. Придумают же «самбук».

Валька вздохнула:

— Вот и я не ела,— шершавой ладонью погладила глянец обложки.— Сегодня на вокзале купила. «Чешская кухня» называется.— Серьезно добавила:— Надо будет сготовить. Значит, «двести граммов абрикосов, ваниль...».

Зюзина рассмеялась, аж грудь колыхнулась под толстой шинелью:

— Господи! «Сготовить» ей! Да где ж ты в своей теплушке?.. Самбук этот?.. О, господи...«Сготовить» ей...

Валька не взглянула на нее, отвернулась даже, глаза на свет сощурила, и опять вспыхнули над землей мириады лучей, невидимых прежде.

А Зюзина посмеялась еще и смолкла, толкнула Вальку примирительно:

— Тебе, Валюха, замуж надо. Вот что. Хватит в вагончиках-то по свету кататься, шпалы ворочать.— Забросила в рот орешек и опять, оглядев ее, прикинула:— Хотя тебя не больно-то замуж возьмут. Сейчас молоденьких девок полно, красивых,— и шелуху сплюнула.

— А мне и так сойдет.— Валька встряхнула головой, шестимесячными своими, еще канскими, кудрями, встала с приступки:— Ладно, пойду я,— хлопнула книжкой по твердым своим плечам:— Мошка у вас кусучая.

— Да погоди. А то скучно одной.— Зюзина поднялась тяжелым кулем.— Вот товарняк встретим, чаек на плитку поставим.— Она пошла в освещенную чистую будку, загремела там то ли фонарем, то ли чайником.— Я всегда на дежурство заварку беру и сахар.

Внутри раздался гудок, настойчивый, диспетчерский. Зюзина выскочила на крыльцо с зажженным фонарем в руках:

— На-ка, вот, встрень семипалатинский. Тяжелый, проходом. Я сейчас,— и протянула фонарь.

Валька пошла к стрелке. Тускло поблескивали рельсы главного пути, на том конце станции горели красные и зеленые сигнальные огни. Она поехала, было холодно. Раскатала брюки до самых башмаков, поглядела вправо, во тьму, направляя туда свет фонаря. Кругом была тишина ожидания, тихо-тихо. Даже слышалось, как

у депо пыхтит ночной маневровый, как Зюзина что-то тараторит в будке по телефону.

Но вот рельсы тихонько запели, точно ожили. Где-то во мраке, меж сопок, полз по ущелью состав, все ближе, ближе.

Вот родился гудок, долгий, протяжный! Поплыл над черными гребнями сопок, перекатываясь и повторяясь.

«Как марал трубит»,— отчего-то радостно подумала Валька и выше подняла фонарь — навстречу трем надвигающимся огням. И вот он налетел. Ветер из-под колес гудел, наотмашь бил по лицу и плечам, трепал волосы, брюки. Валька с трудом вдыхала ветер и задерживала в груди. Ей стало весело и отчаянно. Громяхая, пролетели пульманы, платформы, цистерны с нефтью. Пахло бензином. Рельсы дышали, стучали стыками. И Валька наполнялась, как парус, силой и ветром, могла уже улететь. Но вдруг... все оборвалось, смолкло. Состав красной точкой поплыл вдаль и ее опять окутала тишина. Будто крылья опали. Но тишина другая — пустая и грустная. Она опять была совсем одна среди черных сопок. Опустила фонарь, этот маленький теплый огонь в руках, и тут услышала:

— Здравствуйте.

По ту сторону пути, в полутьме, разглядела человека с чемоданчиком, невысокого такого, чудного, наверно, оттого, что в обнимку с огромной дыней.

— Здравствуйте,— вежливо повторил он, подходя.

— Здравсьте,— сказала она небрежно и подумала:

«Вот чудик-то. С поезда, что ли, прыгнул с дыней-то?»— и пошла к будке, покачивая фонарем.

И вдруг оглянулась: «Не солдат ли? Или почудилось?» Он шел следом и был действительно в солдатской выгоревшей форме, в пилотке, и голос был мягкий:

— Встречаете или провожаете?

Валька пожалала голыми плечами:

— А у нас профессия такая, встречать-провождать.

Подошли к будке, и здесь, при свете, поставив фонарь на ступеньку, она мельком оглядела его: кирзовые пыльные сапоги с широкими голенищами, светлая, выношенная пилотка на глаза. Усмехнулась: «Хоть для порядку бы набочок сдвинул». А лицо его в темноте было бледное и какое-то мило-вежливое, совсем не подходящее к этой форме.

Они еще ничего не успели сказать, как вышла Зюзина:

— Ой, ба-а-тюшки! Это что же, демобилизованный? С товарняка, что ли?

— Да что вы!— он смутился даже.— Я вон там, на взгорье, сидел,— кивнул в темноту.— Вашу песню слушал. Красивая песня.

— А это что же за фрукт такой?— перебила Зюзина.— Совсем зеленый, однако.

— Нет, это сорт такой. Знаете, я у вас спросить хотел...

— А за спрос деньги берут,— засмеялась Зюзина и понесла фонарь в будку.

Он поставил чемоданчик, перехватив дыню, полез в карман.

Валька испугалась даже:

— Да она шутит, какие тут деньги.

Он улыбнулся, достав платок, вытер усталое лицо:

— Да я понимаю, что вы.

А она устыдилась и рассердилась на себя, уселась на ступеньку «Чешскую кухню» читать. Сверкнула яркая глянцевая обложка.

— Я только спросить хотел, когда поезд на Абакан.

Зюзина сказала из будки:

— Уже был, милоч. В двенадцать десять. Стоянка была две минуты. Опоздал, что ль?

— Да нет, я о товарном спрашиваю,— он перехватил тяжелую, неловкую дыню из руки в руку.— Возможно, вскоре пойдет какой-то?

Зюзина вышла на крыльцо и уже с любопытством разглядывала его.

— Поизжился, что ль? Ты чей будешь-то? Или в гости к кому приезжал?

Валька замерла над книгой. Она волновалась.

Он посмотрел в темноту.

— В гости. — И сразу: — Так вы не знаете?

У Зюзиной заварка на плите побежала, она кинулась в будку.

Валька буркнула в книжку:

— Да будет. Утром будет. В пять ноль-ноль. Вон на седьмом пути, с лесом.

Он за чемоданом нагнулся:

— Ну, спасибо.

Но выглянула Зюзина, всполошилась:

— Да господи! Погоди ты, посиди! Чего ты в темень-то? Сколько часов еще ждать,— уж больно разбирало ее любопытство.

А он вроде даже обрадовался. Сразу чемоданчик на пола поставил, довольный уселся в квадрате света, напротив женщин, с дыней в руках, как с младенцем:

— Спойте еще что-нибудь. Я люблю слушать.

Зюзина головой мотнула:

— Да вон она все не тянет. Не хочет.

А Валька спросила, не подняв головы:

— Чай-то пить будем?

— Заварка готова. За водой бы на водокачку надо.

Но Валька не двинулась. А Зюзина, скрестив руки на груди, спросила его:

— Так ты к кому все ж таки? Я ведь, мил, всех тут знаю. Всех до единого.

Он подумал и вдруг с надеждой поднял глаза:

— И учителей в школе знаете?

Она обрадовалась:

— Да как же, мил! У меня даже квартирует одна новенькая. Я их всех наперечет знаю. Всем крою. Все ко мне бегают. Шить.

Он смотрел напряженно:

— Какая новенькая?

Она смекнула, досказала быстро.

— Молоденькая такая, по химии, Вер Пална. А что?

Взгляд его сразу потух:

— Не она, — помолчал невесело. — Вообще-то я уже был в школе. Не нашел. Уезжать уж пора.

Зюзина головой закачала:

— Ай-яй-яй. Значит, адресок неверный дала? Ну, и де-е-е-вка.

Он молчал.

— Ты гляди-ка, — обернулась Зюзина к Вальке. — Обманула. А он прикатил. Ну что за девки пошли? А сейчас-то ты издалека? Где служил-то?

— В Чимкенте, в Средней Азии, — он опять достал платок, вытер лицо — волновался, что ли.

А Зюзина все головой качала, обдумывала этаким факт:

— Ай-яй-яй. — Потом спохватилась: — Чай-то, чай поставить? Сейчас я водички налью мигом. — На Вальку глянула: — Молодых-то не заставишь, — и, прихватив чайник, поплыла куда-то во тьму, к водокачке, в черной свой шинели.

Они остались вдвоем. Валька сидела, уткнувшись в книгу, — читала. Видно, очень занятная была эта книга, и вовсе ее не интересовали его дела и его присутствие. Но ему молчать уже было невмочь, и потому он, похлопав дыню по тугому боку, тихо сказал то ли ей, то ли вообще:

— Она раньше в Канске работала педагогом. Пение преподавала (у Вальки руки застыли над страницей). Мы с ней год переписывались. Даже больше. Год и два месяца. Заочно познакомились.

Валька замерла вся, застыла.

Слышалось, как где-то поодаль льется поток воды. Он поглядел на Вальку внимательней, пожалел ее — в светлой майке, маленькую, сухую, с твердыми ключицами:

— Вам, должно быть, холодно в майке?

Она промолчала. Он сам ответил:

— Вообще-то, я слышал, здесь климат такой, дни жаркие, ночи холодные, как у нас в Чимкенте. Это она мне писала.

Валька резко захлопнула книгу, встала:

— Ты что, так и будешь сидеть тут до пяти?

Он чуть растерялся от ее низкого, грубого голоса:

— Да я... собственно...

— Пойдем,— твердо велела она.— Вставай и пойдем.— Тряхнула своими кудрями и зашагала по шлаку, в сторону товарняков на запасных путях.

Он помедлил, но все же поднялся и, прихватив вещи, послушно двинулся следом.

А издали, из темноты, с усмешкой глядела им вслед Зюзина с чайником. Потом, не отрывая взгляда, стала пить холодную воду прямо из носика.

Одинаково стуча по шпалам ботинками и сапогами, перешагивая рельсы и пятна мазута, пролезая под составами, они вышли в тупик, к депо, где в стороне темнела сцепка жилых вагончиков.

Молча шагали в густой тени, вдоль спящих теплушек с метелками антенн на крышах. На стенках меж окон тускло блестели тазы, цинковые корыта.

Валька остановилась у одной из приставных лесенок:

— Прибыли.— От стенки тянулась веревка с бельем к соседней теплушке. Она поднялась, толкнула незапертую дверь, предупредила негромко: — Осторожно. Второй ступеньки нету,— и скрылась.

Он помедлил, перехватил дыню и шагнул вверх.

В темном тамбуре долго не мог повернуться, найти дверь. Наконец толкнул коленом.

В ярко освещенной кухоньке из-за плакатов не было видно стен: «Ваш выигрыш — время», «Переходя пути...», «За 30 копеек ты можешь...».

Скинув башмаки, Валька стояла посредине этой пестроты под голой электрической лампочкой, неожиданно иная, какая-то смущенная, тихая. Не знала, куда девать руки. Темные, в трещинах, руки.

— Вот так я и живу,— почему-то волнуясь, оглядела собственные стены.— С подружкой. А в той половине — спим,— кивнула на пеструю занавеску.— Она в отпуску сейчас. К матери в деревню поехала. Я одна осталась.

Он стоял в дверях:

— Да я, собственно... не думал как-то...

Она помолчала и вдруг взъерошила волосы пальцами, словно стряхивая растерянность:

— Голодный небось? — и захопотала скорей. В стол полезла, загремела посудой, точно этого и ждала. Потом хлопнула ладошкой по клеенке: — Ты садись давай, садись. У нас тут все запросто.

Он поставил у дверей чемоданчик, рядом опустил дыню, она ему все руки отмотала. Потом пилоточку повесил на косяк — все никак не вешалась. Гимнастерку одернул.

— Садись давай! — Валька вынимала из стола колбасу, холодную круглую картошку, хлеб в пластмассовой вазе, усмехнулась: — Посуды вот нету, тарелка да блюдец. Мы тут все в столовой питаемся, кроме семейных, конечно.— Она радостно суетилась.

Он присел на табурет:

— Вы не беспокойтесь, я не голоден, я сегодня обедал на станции.

А она уже выставила все на стол и опять не знала, что же делать, — молча присела напротив него по ту сторону стола. Клеенку разгладила аккуратненько:

— Ну ешь давай, ешь. Колбасу бери, хлеб.

Но он не брал. Ему неловко было сидеть, ноги некуда было девать, колени в стол упирались, да и вообще было как-то неловко и за нее и за себя, за свой глупый приход.

Она вдруг вскочила:

— Ой, давай, что ли, картошку подогрею, — и в угол, к плите, резать принялась, быстро-быстро орудуя руками. Не оглядываясь, просила: — Ты прямо из армии или как?

— Да, прямо из части. Дома еще не был.

Она отложила нож и, неслышно ступая, ушла за цветастую шторку в другую половину теплушки. А он один на один остался с плакатами. На него строго глядели крестьяне, женщины, дети, похожие друг на друга, как две капли воды, и мудрые, которые регулярно сберегали, страховали и выигрывали.

Но вот явилась Валька и поставила перед ним полбутылки ликера, темного кофейного ликера.

Он совсем растерялся:

— Да что вы, я не пью. Уж забыл за эти два года.

— Ерунда. За встречу не вредно. Это я подружку в отпуск провожала, так осталось вот. — Она достала два граненых стакана. На свет глянула, пошла мыть к раковине. — Тут в сельпо нет ничего порядочного, шампанское да ликер. Теперь, может, к празднику забросят. Тут не в Канске, мы в Канске раньше стояли... — и осеклась.

Он голову вскинул:

— Вы в Канске бывали?!

Она подошла, села, стала наливать в стаканы поровну:

— Была я в Канске.

Он взволновался:

— А из школы там никого не знали, из учителей?

Она опустила под стол пустую бутылку:

— Нет, не знала. — Она старалась не смотреть на него, твердым кулаком подперла щеку, подняла стакан: — Мы с этими вагончиками там стояли. Шпалы ворочали. Вот так, — усмехнулась. — Ну, выпьем, что ли?

Он вздохнул огорченно:

— Выпьем.

Был он какой-то тихий, нездешний, интеллигентный, что ли.

Она стукнула своим стаканом о его:

— Люблю чокаться.

На плитке уже шипела, потрескивала картошка. Он с аппетитом ел колбасу, говорил оживленно, негромко:

— Вы знаете, мы заочно с ней познакомились. Она к нам в часть письмо прислала, в многотиражку «За доблесть». Про песню там одну написала свое мнение. Я сам чертежник, а в армии в многотиражке служил. Ну, получил первый. Подумал, подумал и ответил. И знаете,— он счастливо улыбнулся,— такая оказалась подкованная... такая, знаете... замечательная девушка. Стихи мне посылать стала разных поэтов, песни, вырезки из журналов, вообще вкусы у нас очень совпали. Это редко бывает.

Валька ушла к плитке и долго стояла там, отвернувшись к стене. Потом принесла сковородку с шипящей картошкой.

— Вон ту дыню я ей везу.— Он засмеялся.— Ох, и натерпелся я с ней. У меня ее в поезде все в карты выиграть хотели. А потом спрятали в другом купе, еле нашел,— и опять засмеялся, вспомнил.

Картошка дымилась посреди стола. Валька молча сидела в засаленной своей майке и обхватив руками голые плечи, смотрела на него пристально и нежно, ловила каждое слово. А он не замечал. Он брал ложкой горячий картофель и, обжигаясь, восторженно говорил:

— Вы не представляете, какая она. Ну... Целеустремленная, что ли. Музучилище кончила. И поет. А я не поступал даже, боялся,— он помолчал.— А в День Советской Армии сигареты прислала с фильтром, «БТ», знаете? Целый блок. А я ведь не курю. Ребятам раздал. Все завидовали: «Ну и девчонка у тебя!» — И добавил тихо, как по секрету: — Я о ней даже маме написал... А она вот пропала.

Валька встала, полная какой-то решимости, и ушла за перегородку.

Опять он остался один на один с плакатами. Но теперь он притерпелся к их яркой пестроте, его не удивлял даже такой строительный лозунг: «По стенам не ходить. Опасно для жизни!» Его разморило от ликера, от тепла и еды. Он взял ложкой по сковородке и думал.

И тут вышла Валька, очень прямая и торжественная. В атласном оранжевом платье, с янтарными бусами и в босоножках. Она молча прошла через кухню и под села к столу, на краешек табурета. А он и глазом не повел, ничего не заметил.

— Вы знаете,— заговорил он с горечью,— в последнем письме я написал ей в Канск, что приеду. Демобилизуюсь, мол, и приеду. Вообще по-серьезному все хотел. И устроился бы сразу, чертежники везде нужны. И ее бы догнал, в заочный пошел.— Он на плакаты взглянул, помолчал.— А она не ответила. Черкнула только, что уезжает сюда, в Алатау, и все... И тут ее нет,— он горько взглянул Вальке в глаза.— Как думаете, почему? Может, считает, не пара я ей?

И Валька, такая прямая и твердая, вдруг голову уронила:

— Не знаю.

Они молча сидели друг против друга и думали о своем.

Сладко пахло дыней, пережаренной картошкой.

Совсем близко за стеной, по соседнему пути, прошел из депо паровоз. Он пыхтел в предутренней мгле и бил струей пара прямо в стенки вагонов.

Валька устало поднялась в своем новом платье, принялась убирать со стола. Машинально спрятала хлеб в вазе, сковородку. Погремев ручкомойником, сполоснула стаканы.

— Я знаете чего опасуюсь? — размышлял он. — Может, она осталась в Канске?.. Только вот я адреса ее не знаю. Всегда до востребования писал.

Она остановилась перед ним посреди кухоньки. Какая-то тихая, безразличная:

— Ты самбук из абрикосов ел? — со стаканов капало на пол.

Он удивленно поднял глаза:

— Самбук!.. Ел яблочный. До армии, конечно. Мама готовила, а что? — и вдруг увидел и ее атласное платье и бусы, блестящие под электричеством. И первое, что мелькнуло, — куда это собралась в такое время, а во-вторых... потупился и, опустив взгляд, как-то поспешно, неловко стал вылезать из-за стола: — Простите... засиделся я. Пора мне давно. Скоро поезд.

Валька стояла, спокойно следила за ним.

Он прошел к двери, зацепив половик, нахлобучил пилотку опять на самые брови:

— Вы говорили, поезд в пять? С седьмого пути?

— В пять ноль-ноль. С седьмого пути.

Он взял чемоданчик, поднял дыню, помедлил:

— Спасибо вам... — и руки не подать — заняты. — До свидания... — имени он даже не успел узнать.

— Валя, — подсказала она.

— Валя, — повторил он и глаза отвел. — Ее тоже Валеи звали. — И уже бодро: — Ну, счастливо вам, Валя.

И тут Валька встрепенулась, шагнула к нему:

— Куда же ты?!

Но он сразу отступил, сказал твердо.

— Искать поеду, в Канск. — И тише: — А вообще-то... не знаю, может, к маме поеду, — и пошел в тамбур.

Валька поставила стаканы, в окно поглядела:

— Лучше к маме езжай.

Он распахнул дверь теплушки и шагнул из яркого света в синий, прохладный, предутренний сумрак. По станции растянулся туман, и темные вагоны товарняка на седьмом пути были еле видны.

Упав на подружку койку, в кружева, Валька ревели громко и безутешно. Худая спина ее дергалась под ярким платьем. Она ревели

и слышала только себя. Свой низкий, грудной голос. Потом наконец притихла. Стала различать гудки на станции, ляг сцепок и тихую дальнюю песню:

Скатилось колечко со правой руки,
Забилось сердечко-о по милом дружке...

А может, ей просто почудилось. Но только постепенно она успокоилась.

Тяжело поднялась с некрасивым, красным лицом. Оправила чужую постель, головой тряхнула. Прошлась среди занавесок и вышивок. Заглянула в кухню, где еще пахло дыней, подумала: «Нет, это невозможно, невозможно это... Неужели он только что был здесь?» — и погасила свет.

Стала медленно раздеваться в сером, чуть брезжущем сумраке. Она снимала бусы и платье. Разбирала свою по-солдатски заправленную постель: «Вот если сейчас же выскочить и с маневровым проскочить до стрелки, то еще можно успеть догнать его. И все рассказать...»

Потом легла под холодное ватное одеяло, натянула его на голову: «Да, наверное, можно было б догнать...»

На станцию выходили путейцы, шли на смену в депо рабочие. Курили, смеялись. Наступало утро.

ЗА ДЕРЕВОМ БЫЛО СОЛНЦЕ

В коридоре детского дома творилось что-то необычное. Уже знакомо пахло картофельным супом, и дежурных уже отправили помогать, но в столовую никто не спешил. Ребята толпились совсем в другом конце коридора, обычно пустующем, у застекленной двери с табличкой «Директор».

Все липли к стеклу, и хотя оно было матовое, но кое-что различить было можно. Вокруг стоял приглушенный, тревожный гул.

В столовой дежурные звенели кружками, быстро раскладывали куски хлеба с кубиком масла на каждом и тоже готовы были сорваться, когда в «директорском» конце коридора произошло оживление и кто-то крикнул:

— Алика позовите! Из пятой группы. Татьяна велела! Это к нему приехали!

Татьяной звали директрису Татьяну Ивановну.

Дежурный мальчишка с ложками в руках выскочил из столовой и закричал:

— Он еще на пруду! На пруду он!

— Не-е! — отвечали ему. — Он в слесарной. Я сам видел, — и чьи-то башмаки затопали к выходу.

А в директорском кабинете у стола, застланного зеленой бумагой, сидели двое: маленькая стриженная директриса, похожая на девочку в своем шевиотовом, великом в плечах жакете, и молодой морской капитан. Впрочем, молодым он только казался из-за белых, седых волос, прядями падавших на лоб. Правый, пустой рукав его был забит в карман. А на коленях он пристроил морскую фуражку с «крабом». Изношенную морскую фуражку.

— Этого мальчика вывезли из Одессы, — тихим голосом говорила женщина. — К нам он поступил в сорок третьем. Это была моя первая партия. Документов с ним не было. Никаких документов. — Она говорила медленно и как-то напевно. — Ни имени, ни фамилии он не помнил. Маленький был, а возможно, пережил шоки: бомбежки, эвакуация, знаете. Назвали мы его сами Аликом. Это я его назвала и фамилию дала свою. Наши сотрудники тогда многим свои фамилии давали. Тут у нас теперь все Растворовы да Глазковы, — и невесело улыбнулась. — Так что, как видите, прямо семейственность. — В руках она крутила чернильницу-непроливайку, и пальцы ее правой руки были в чернильных пятнах. Она помолчала и, вдруг покраснев, тихо спросила: — А вы не на Черноморском флоте служили?

— Нет. Я на Северном был. На спасателе. Пока нас не затопили. А что, похоже, что с юга?

Она отвернулась:

— Нет, у меня отец там погиб в сорок третьем.

За окном густой тополь трепал по ветру листву, закрывая весь двор, подсобные детдомовские постройки, сарай.

— Он трудный, конечно, мальчик, — заговорила она серьезно. — Замкнутый, молчун, весь в себе, но удивительно честный, правдивый. Он стал бы хорошим сыном. За него я ручаюсь. — Видно, очень был дорог ей этот Алик.

— Конечно, конечно, — кивнул капитан. — Я познакомлюсь с ним, но все же... понимаете, мне хотелось бы девочку. У меня ведь дочка была. В блокаду погибла. И жена погибла и мать, — сказал он это спокойно и как-то устало. — Я коренной ленинградец, а вернулся и вот не мог дома жить. Не мог, знаете, двором своим проходить, особенно если дети играют. Скакалки там разные, классики. По лестнице не мог подниматься. А в квартире и вовсе. — Он поправил фуражку на колене. — Потому и уехал подальше от памяти. У вас вот осел, сухопутным стал, — усмехнулся. — Как сказал бы мой бывший старпом: «Осел в глубоком тылу». Веселый был человек мой старпом.

Она поставила чернильницу:

— Так что я вам советую, очень советую этого мальчика... Можно, конечно, и девочку. Но вы познакомьтесь сперва с детьми. Выберите.

В дверь постучали. За стеклом были видны расплюснутые носы, размытые лица ребят. Дверь тихо открылась, и мальчик лет шести-семи вошел в комнату. Наголо остриженный, в девчачьей кофте, с быстрым, настороженным взглядом. От скорого бега он запыхался и теперь сдерживал дыхание.

— Здрасьте,— выдохнул он и устался в пол. Конечно, он уже понял и увидел все, но боялся смотреть.

— Подойди, подойди сюда, Алик,— позвала директриса.

Мальчик шагнул к столу, не глядя на гостя, но всем своим существом чувствуя его взгляд.

За дверью притихли, уткнулись лбами в стекло, перестали дышать.

— Ну, чего там видно? — приставали задние.

— К столу подошел... стоит,— комментировал кто-то.

— А я бы сразу отца узнал. Я бы сразу.

— А может, это и не отец совсем. Вон Глазкова вовсе чужие взяли.

Кто-то шмыгнул носом:

— А я бы такого взял в отцы. Ну и пусть без руки. Я бы сам все делал.

Капитан не знал, как лучше начать разговор, спросил неуверенно:

— Так из какого ты города, Алик?

Тот тихо ответил:

— Не знаю. Там море было.

— А улицу помнишь? — спросил капитан, но тут же пожалел, что спросил.

Мальчик замер, лицо его побледнело. Ему хотелось вспомнить как можно больше. Ведь от этого зависело все. Может, вся его жизнь. Но улицу... нет, улицу он не помнил, а врать он не мог.

Капитан не знал, как и о чем говорить, как помочь малышу, и взглянул на женщину, ища поддержки. Но тут Алик тихо, отчетливо произнес:

— Я помню, как мы ходили с тобой по песку у самой воды.

Стало так тихо, что слышен был шепот ребят за дверью, шелест листвы за окном.

Волнуясь, женщина мягко спросила:

— А что ты помнишь еще?

— А еще я помню коня.— Он не смел поднять глаз на гостя.— Красного коня. Ты принес мне такого... красного.

Замолчал, мучительно вспоминая что-то еще. Напряжение было так велико, что ладошки рук его взмокли... Но он вспомнил! Вспомнил и поднял на человека счастливый взгляд, сказал на одном дыхании:

— Еще помню, за окном у нас росло дерево. Такое большое зеленое дерево. Оно шумело... шумело... — Он рад был точности воспоминания. Для него это было так важно. И теперь... теперь он только ждал, когда же гость наконец откроется, признается, кто он.

И взволнованный капитан, глядя в его маленькое веснушчатое лицо, серьезно сказал:

— Ты прав. Под окном росло дерево, — и улыбнулся. — А за этим деревом было что?

И мальчик, не отрывая от него счастливого взгляда, громко сказал:

— Небо. Солнце! — Он был счастлив, но еще не смел сделать шага к этому долгожданному человеку.

А капитан вдохновенно спрашивал:

— А помнишь, как я учил тебя плавать?

И мальчик замер растерянно.

Опять стало слышно, как в коридоре толкаются дети.

— Я не помню, — прошептал он испуганно. Для него все теперь рушилось. Рушилось навсегда.

Но капитан взял его за худое плечико, повернул к себе и крепко встряхнул:

— Ну а песню? Ты же помнишь песню, какую мы пели с тобой?

Алик неуверенно поднял глаза:

Орленок, орленок, взлети выше солнца!

И капитан ответил взволнованно:

И степи с высот огляди...

Лицо мальчика стало светлеть, он поверил в чудо. И вдруг, отстраняясь, тоненько затыкнул:

Навеки умолкли веселые хлопцы,

В живых я остался один...

Капитан, держа его за плечо большой ладонью, поддерживал низким, уверенным голосом:

Орленок, орленок, мой верный товарищ,

Ты видишь, что я уцелел.

Лети на станицу, родимой расскажешь,

Как сына вели на расстрел.

Теперь уже два голоса, неумелый мальчишеский и хриловатый мужской, на удивление всем, звучали из кабинета директора детского дома. А сама она, маленькая, стриженная, в большом шевиотовом жакете, не в силах видеть все это, ушла к окну и смотрела теперь сквозь слезы на расплывающееся зеленое дерево за стеклом.

— Он узнал его, — сказал мальчик за дверью.

Девчушка вздохнула:

— Я бы тоже сразу отца узнала.

Притихшие дети неслышно расходились по коридору и, конечно, думали, что их тоже когда-то отыщут, что за ними однажды тоже придет отец и, может быть, тоже окажется капитаном.

А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

Замерзшее ноябрьское солнце осторожно поднялось и удивленно и ласково оглядело белую землю. За ночь выпал снег и сделал все неузнаваемым. И поля, и станцию, и поселковую площадь перед сельпо.

У магазина на первом хрустом снежке толпились женщины. Стояли, сидели на завалинке — ждали хлеба. Пришли в сельпо загодя, по белым прибранным улицам, посудачить, новости разузнать, да и свеженького, теплого хлеба взять.

Похаживают в теплых шالях, в непривычных, еще не притершихся валенках, ногами постукивают, кошелки в руках. Вдруг всполошились:

— Везут!

Голубой фургон с хлебом катил все ближе по белой площади. Вот круто затормозил под самыми окнами. Женщины шарахнулись:

— Вот, Гришка, шальной!

Щелкнув дверцей, лихо выпрыгнул шофер.

— Здравствуй, Гриш, здравствуй, — вразной запели бабы.

— Небось, горяченький? Из пекарни?

— Привет, — он с улыбочкой распахнул задние дверцы фургона. — А ну, налетай. Кто скорее.

И те принялись помогать — буханки носить.

В магазине еще не топлено, сумрачно, холодно. По полкам ткани, кашоши, пряники. Продавец открыл железные ставни и нехотя пошел за прилавок, товар принимать.

А бабы, дыша белым морозным паром, одна за другой уже несли в обнимку живой, теплый хлеб. От машины вверх по ступенькам и в магазин. Скрипит снег, скрипят ступени, скрипят темные половицы под валенками. На ходу балагурят, смеются:

— Ты глянь-ка, глянь, Кузьмовна-то сколь подхватила! Эй! Не лопни, кума!

Маленькая, в клетчатой шали, та еле протиснулась в дверь с хлебом, будто с охапкой дров. Понесла на прилавок чуть не выше головы — продавца загородила.

— Андрейч, слышь, Андрейч? — заглянула она в просвет меж буханок. — Дело у меня к тебе, — по сторонам глянула и тихо: —

Сноху мою к себе не пристроишь? Чего ей дома баклуши-то бить. Пристрой, а?

Продавца было не видно, только жилистая рука с карандашом ползала по бумажке.

— Пристрой, ради бога. На станцию ее жалко, рабочей-то, на зиму. Молодая еще, — шептала Кузьмовна. — Охота где потеплее.

За буханками было тихо, потом раздалось:

— В сети-то она работала?

— Да нет, — огорчилась Кузьмовна. — На заводе она была ученицей в стаканном цеху, — и добавила живо: — С десятилеткой она, с аттестатом. А как же... Ученая.

Верхние буханки продавец снял. Они гулко стукнулись о полку. Лицо у продавца было постное, безучастное, он шевелил губами — хлеб считал, что ли.

— Не надо мне. Вон к Лизавете сходи, в чайную. Уж там куда теплее.

Кузьмовна поджала губы и пошла к выходу. И хлеба больше носить не стала, чего зря стараться. Села на завалинку ждать, пока все примут, обдумывать положение.

И тут к магазину, звеня сбруей, фыркая от мороза, галопом подкатила рыжая лошаденка, впервые после осени запряженная в сани. Еще на ходу соскочила Лиза, Лизавета, станционная буфетчица — приехала хлеб получать. Стоит у фургона, как сахарная, полушалок белый, шубка белая, смеется, бумажку Грише сует:

— На-ка, распишись... тридцать буханок. И не тронь, чумазый! Вот как сейчас ляпну...

Подхватила с лотка, понесла в сани первые кирпичи, крикнула весело: — А ну, бабоньки, помогай! Чего встали?!

А бабы ни с места, носы в сторону. А одна с укором:

— Ну, как же, ты мужиков наших приваживать да спаивать, а мы «помогай»? Ишь ты, язва.

Лиза хохочет, укладывает парной, душистый хлеб на солому: — А ты его привяжи. Чтоб не сбег.

И Гришка-шофер зубоскалит:

— Да вырвется. От такой жинки как не вырваться.

А Лизавета порхает от саней к фургону, считает вслух:

— Одиннадцать... четырнадцать...

Подошла Кузьмовна и ласково так:

— Давай-ка, Лиза, подсоблю. Давай-ка.

— Вот спасибочки. — Щеки у Лизы румяные, зубы белые. — Вот спасибочко за сознательность.

Кузьмовна сочувствует на ходу:

— Чего сама хлеб-то возишь? Нешто положено тебе, заведующей, самой надрыватьсья?

— Ой, и не говори,— вздыхает Лизка.— Третью подсобницу меняю. То в декрет уходит, то не сработались. Торговля ведь дело такое.

И тут Кузьмовна остановилась перед ней в обхват с буханками.

— Слышь, Лиз. А ты сноху мою возьми. Таньку. Девка — золото. И покладиста и шустрая.

Лиза сразу посерьезнела, солидно села на край саней:

— Это та, что ль, маленькая? Витька из города привез?

— Она, она,— обрадовалась Кузьмовна.— Из Томска. Служил он там. Ну, познакомились и привез. Куда ж деваться.

Лиза подбила желтую солому с боков, лукаво на Гришку глянула:

— Взять, что ль? — и Кузьмовне: — Ты буханки-то клади, клади.

Кузьмовна торопливо сложила хлеб, уж больно ей хотелось пристроить сноху к делу.

Но Лиза дернула вожжи, и сани поплыли от Кузьмовны, лошадь сразу двинулась ходко, вид первого снега тревожил ее. Кузьмовна расстроилась, но Лизка все же оглянулась, крикнула весело:

— Ладно, пусть завтра зайдет! Погляжу!

Над поселком разливался голубой рассвет, и в домах уже зажигались ранние теплые окна, когда Таня подошла к чайной. Она бежала всю дорогу из Заречья по спящим улицам, боясь опоздать. Но у запертой двери на пороге еще лежал мягкий, нетронутый снег, и вся мощеная улица и деревянные тротуары были белы и чисты. Таня уселась на ступеньки ждать.

Вон и фонари у вокзала погасли. А Лизы все нет и нет. Таня ждет, волнуется, как-то пройдет этот первый рабочий день, что расскажет она дома, вечером. Таня думала и чертила варежкой на ступеньке «Витя плюс Таня» и не заметила, как подошла Лиза, оглядела ее согнутую фигурку, по-хозяйски поднялась к дверям, чуть не наступив на варежку.

— Здрасьте,— вскочила Таня.— А я вас жду.

— Здорово,— усмехнулась сверху Лиза, доставая из-за пазухи ключ, и, щелкнув каленым замком, со звоном откинула щеколду.— Ну, заходи, помощница.

...Посреди пустой чайной Таня застилала столы голубыми клеенками. Взмахнет над столом, как ковром-самолетом, расправит, разгладит ладошками, поставит солонку.

— А Витюшка мой ничего и не знает,— говорит она весело.— Из маршрута сегодня вернется, а я, пожалте, с работы иду. Вот удивится.

— А что ж, нечего на них надеяться. О себе самой надо думать.— Лизина голова в сахарной наколке то появляется над стойкой, то исчезает. Лиза разбирает продукты.— И вообще девушке надо быть

при деле. А то шляются по земле с гитарами. Угомон не берет. А потом дети сиротами растут, — и вздохнула: — Я тоже душой была когда-то.

За окном встает солнце. На стеклах цветет розовый иней. И бумажные кружева на полках становятся розовыми. А кумачовый треугольник над Лизиной головой «Бригада коммунистического труда» так и рдеет на солнце. И такая благодать кругом, что душа у Тани поет. В чайной чисто, уютно, потрескивают дрова в печи, и пахнет как-то особенно: хлебом, свежевывмытыми полами, капустой.

Таня ставит греть воду, режет хлеб, говорит из подсобки громко: — А на заводе я в стаканном цехе ученицей была. Красота, конечно. Все звенит, крутится, только успевай.

Лиза слушает и не слушает, взвешивает товар — открывать скоро.

Таня подносит ей стопку тарелок:

— А вообще-то везде интересно. — У нее мечтательные глаза. — Как говорит мой Витька, лишь бы работать с полным кпд, верно ведь?

— Эх, детсад. — Лизка качает своей пышной красивой прической. — Мой сынишка Толечка и то умнее тебя, — и подает ей белый передник. — На-ка вот, сегодня мой надень, потом свой сошьешь, — и улыбается: — И чтоб с полным кпд, ясно?

...В чайнойлюдно и уже душно. По стеклам течет. Гомон. Таня ходит меж столиков, собирает посуду. Вот Гришка-шофер ест винегрет, на стойку поглядывает. Но Лизы ему не видно, только ее сахарная наколка мелькает иногда поверх голов и звонкий голос доносится: — Котлеты — одни, хлеб — триста, следующий!

Таня стирает со столиков, ходит, гордо поглядывая вокруг. Вот с мороза ввалились в чайную деповские девчата, в телогрейках, брюках. Запахло бензином, смазкой. Гремят в углу рукомойником, занимают столик, одну сразу посылают в очередь.

Таня шурует в печи кочергой, слушает их грубоватые голоса. И к ним у нее уважение, даже почтение. И кажутся ей эти двадцатилетние очень взрослыми.

Посуду со столов Таня носила в подсобку. В обед — горы посуды, только успеваешь вымыть и скорей белые стопки в зал, к Лизе.

— Ты больно-то не размывай, некогда, — кидает Лиза тихо. Народ к ней ломится.

Вода из крана бежит в мойку. Таня берет стакан, моет под струей, ставит на чистый поднос. Приноровилась, и получается ловко, как на заводе поточная линия. Звенит крышкой чайник, звенят стаканы, а Таня, как в вальсе: берет — раз, моет — два, ставит — три. Раз, два, три. Раз, два, три.

Иногда, стуча босоножками, забегает Лиза. То к плите кинется, то в холодильник нырнет. На ходу спросит:

— Ну, как кпд?

— Как в стаканном цеху!

А по радио — производственная гимнастика:

«Встаньте прямо, поднимите руки на уровне плеч.— Таня взмахивает руками, они у нее по локоть мокры.— Упражнение начали: раз-два-три...»

Значит, в Москве только одиннадцать. А тут уже день-деньской. За белым морозным окном проехал красный автобус, пробежали ребята с портфелями. Наверно, вторая смена.

Иногда через открытую дверь Таня смотрит на Лизу, любитесь, как та ловко орудует у стойки. Народу к ней — тьма: и шоферы, и транзитные пассажиры, и сцепщики. И все — Лиза, Лиза! Всем нужна Лиза, все к ней с почтением. А она — как хозяйка медной горы, стоит неподвижно, а руки, как птицы, порхают от стойки к витрине, от витрины — к весам, к бочке с пивом. Сережки вздрагивают, костяшки на счетах щелкают:

— Три бутерброда, треска, два пива. Все? Девяносто. Сдачи мелочи нету.— Взяла рубль, ириску бросила.— Следующий.

В подсобной Таня чистит картошку, уже второе ведро с утра. — А что я придумала, — говорит она Лизе, та наспех ест винегрет прямо из бака: — Давай шторы на окна повесим, голубенькие. Я такой материалчик в сельпо видела. Могу сшить, хочешь?

Лиза жует, устало глядя в окно:

— Делать, что ли, нечего? И так не чаю как отсюда вырваться.— У нее прямо ложка из рук валится.

«Нехорошо, конечно, из бака,— думает Таня, наливая чаю в стакан.— Но ведь и поесть-то ей толком некогда».

Лиза вздыхает:

— Есть у меня мечта, девочка. Хочу в вагон-ресторан уйти. Вот дельце одно проверну и сдам точку.— В зале шум. У стойки ждет очередь, но Лиза туда и глядеть не хочет.— Думаешь, нравится мне улыбаться тут всем? Думаешь, нравится?.. А надо. Вон Гришка-шофер на зиму дров подкинул, завмаг Толечку в интернат устроил.— И сразу голос потеплел: — В первый класс пошел мой Толечка. Палочки пишет, нолики.— Она помолчала и опять твердо: — И хоть одна я, Таня, хоть мать-одиночка, а Толечку выучу. Расшибусь, а выучу. Он у меня еще ученым будет...— Стоит Лиза, ест винегрет, а в глазах свое что-то: невеселое-невеселое. Еще не видела Таня ее такой.

— А вы бы замуж шли. Вы вон какая красивая.

Лиза усмехается горько:

— Господи, за кого замуж-то? За Гришку, что ль, голь перекатную? — И ложку бросила.— А солидные люди все женатые.

И опять она в зале:

— Сардельки — один, хлеба — триста... Таня, чай там скипел? — Костяшки щелкнули, ириску бросила.— Следующий.

Чайник с кипятком ведерный, синей эмали. Прихватив тряпкой, Таня тащит его двумя руками. Уже шестой сегодня выпивают. Это

сколько же люди пьют за сутки? Ну, по району, например? Или по области?.. А по всей стране? Ой-а-а... реки!

— А я говорю, мне сдача нужна, — это упрямится гражданочка в шляпе, из транзитных, не хочет ириску брать.

Лиза расстраивается.

— Ну сколько раз объяснять, гражданочка, — потрясла пустым блюдцем. — Нету мелочи, видите, — и вторую ириску ей бросила.

Сзади торопят:

— Ладно, дамочка, отходи. Нам на смену. — Тянут через головы деньги. — Лиза, пять пива.

А та как приросла:

— Я сдачи жду, — и глядит в упор сквозь очки.

«Бывают же люди. — Таня взгромоздила чайник на табурет. — Дались ей эти копейки!» И вдруг увидела блюдце, полное мелочи, под прилавком, на полочке.

— Лиза! — чуть чайник не опрокинула. — Да вот же! — И достала скорей, поставила — мелочь брякнула.

Женщина усмехнулась, а Лиза померкла вся, зло взглянула на Таню:

— А кто тебя просил убирать? — и отвернулась: — Так. Вот вам сдача. Следующий.

Таня мяла тряпку в руках. Не знала, куда деваться от взглядов. Постояла еще и молча пошла в подсобку.

...Из репродуктора над ее головой диктор звонко вещал:

«Дорогие друзья! Начинаем концерт по заявкам наших доблестных воинов-артиллеристов и ракетчиков!..»

— И не лезь в мои дела. — Лиза спокойно раскупоривала консервы на табурете. — И к стойке не подходи. А то первый и последний день тут. Поняла? — Сережки сердито дрогнули. — А то без тебя не знаю, что делаю.

Таня стоит как мертвая, машинально моет стаканы, раз, два, три. А по радио давняя знакомая песня:

— ...Поле, русское по-о-оле,
Я, как и ты, ожиданьем живу...
Верю молчанью, как обещанью...

За окном меркнет день. И уже фонарь над улицей качает желтый, тревожный свет, да перекликаются тепловозы. Таня собирала со столов солонки, стаскивала грязные голубые клеенки. С улицы стучали, дергались. Звякал крючок на двери.

— Мне на базе шепнули, ревизия скоро, — не обращая внимания на стук, Лиза «снямала остатки», — надо все подготовить, чтоб комар носа не подточил. — Скинув босоножки, она залезла на стойку и считала в буфете коробки с вафлями, бутылки портвейна. — Чего

молчишь? Обиделась что ль из-за мелочи? — Усмехнулась. — Вот уж правда, это мелочь... Нет, девушка. Надо легче на все смотреть, веселей. А то много тут не наработаешь. Да и жить легче веселому человеку. В общем, на первый раз прощаю.

— Может, открыть? — спросила Таня.

— Да ну их. Небось за вином. — И крикнула на весь зал: — Закрyto! Закрyto!.. Так. Портвейнов тридцать четыре по два тридцать... Прямо голова кругом с этой арифметикой... Слушай, а вдруг нужный кто? Ну-ка, открой.

И Таня побежала быстро, крючок скинула.

В клубах пара ввалился квадратный заснеженный дядька в брезенте.

— Что, Лизавета, в праздник рано закрываешь? — Он притопнул на месте, и комья снега с плеч и ног полетели на пол, зашипели на печке.

Лиза обрадовалась:

— Ой, Петр Иванович. — Слезла со стойки. — А какой такой праздник?

Он обиженно засопел, вылезая из своего твердого плаща.

— Наверное, День артиллерии, — сказала за его спиной Таня.

— О! Точно. — Он оглянулся и увидел девочку с челочкой, в фартуке. Молча повесил у двери гремящий плащ и пошел в пустой зал, сразу такой домашний, в вязаной душегрейке и в серых катанках.

В подсобке Лиза срочно достала пол-литра из холодильника.

— Видала? Ухажер! Как раз вовремя. Бывший начальник станции. — Она развеселой стала. — Вот так каждый праздник. Придет и сидит, размышляет. Жена у него — мегера. Сроду выпить не даст, печень его бережет. А сын в Москве учится. — Откупорила бутылку, отерла тряпочкой. — Ты сыру нарежь голландского, да потоньше.

Он сидел в пустом зале, среди голых столов и следил, как за окном в свете фонаря крутится желтый снег.

— Чего ж редко заходите, Петр Иванович? — Лиза плыла к нему — на тарелочке полный стакан, огурчики, хлеб.

Он очнулся от мыслей:

— Дела все, Лиза, дела, — расстегнул душегрейку, — вот только что с партактива. Опять наш директор отчет запарол. Пришлось выступить, подсказать.

Лиза присела, оперлась на белые локти.

— И чего вам беспокоиться, Петр Иванович? Как говорится, на заслуженном отдыхе. Сидели бы дома. — Стаканчик подвинула. — Как печень-то, не тревожит?

— Ерунда. — Он помолчал и серьезно поднял стакан. — Ну, что, Лиза? С праздником, значит?.. За артиллерию нашу!

— С праздничком, с праздничком!

— Ракетных войск я не знаю, а вот артиллерию...— выдохнул и выпил.

Лиза обернулась и крикнула:

— Ну, долго ты там?

Он закусил огурчиком.

— Новенькая? И как, ничего?

— А кто знает,— пожалала Лиза плечами.— Новый сапог всегда жмет.

— Да притирается. Я старый солдат. Знаю.

Он был прост лицом. Добродушен. Смотрел, как спешит новенькая с чаем и сыром, как горячий стакан жжет ей пальцы.

Улыбнулся.

— Садись, посиди с нами. Праздник нынче.

Но Лиза отослала.

— Иди, иди. Нечего ей тут рассиживать. Еще клеенки мыть. А вы закусывайте, Петр Иванович. Сыр свежий.

— Да, сыр свежий.— Он смотрел за окно, как под фонарем уже валит косо летящий желтый снег.

— А как же, все стараешься, стараешься,— уже по-деловому заговорила Лиза.— Сами знаете, пятый год на одной точке, без жалоб. В ночь-полночь стучат, и днем не присядешь. И все хочешь как лучше.— Вздохнула мечтательно: — Вот штorkи хочу для уюту шить, голубенькие такие. Уже и ткань присмотрела.

Он сидел благодушный, чуть покрасневшийся от выпитого.

— Люблю я тут посидеть в удовольствии. На тебя поглядеть.— Хрипловатый голос его звучал в пустом зале: — Ну, хочешь, признаюсь тебе?

— Да вы выпейте,— перебила Лиза.— Я еще принесу.— И стакан подвинула.

— В сорок четвертом, в такую же вот зиму, под Рогачевом командовал я батареей.— И поднял стакан.

— А вообще-то у меня вопросик к вам, Петр Иванович.— Лиза смотрела, как он пьет.— На базе мне один человек сказал, что в вагоне-ресторане местечко освободилось. Как вы думаете, стоит?

Он отставил стакан, помолчал:

— Что? Надоело, что ли?

— Да не то чтобы надоело,— сказала она,— а охота свет посмотреть, себя показать. Может, замолвите за меня словечко? Вы ведь всех знаете,— она оживилась,— и с планом у меня порядок, за четвертый квартал гоню, и «Бригада коммунистического труда» von уж который год висит,— и улыбнулась: — Я ведь сознательная.

Петр Иванович озаботился:

— Подумать можно... А с личной-то жизнью у тебя как?

— Ой! — засмеялась она. — Какая уж тут личная. Вся моя личность на общество тратится. — И серьезно: — А может, записочку напишете?.. Я набросала там кой-чего на листочке, чтоб вас не утруждать.

— Так уж сразу и записочку. Погоди. Покумекать надо, — сказал он задумчиво и поглядел в окно. Там уже не было видно фонаря, снег совсем залепил стекла. — Налей-ка мне, Лиза, еще. Сегодня мой день. Салют сегодня в городах-героях. А в сорок четвертом под Рогачевом...

Лиза устало вошла в подсобку. С лица стерлась улыбка:

— Ох, уж эти мне пенсионеры! Слушать их тошно. — Достала начатую бутылку. — Ладно, бог терпел и нам велел. А то улетит без меня вагон-ресторан мой... Ковер-самолет мой голубенький.

Таня молча перетирает солонки.

— Это один человек мне умный совет дал. Иди, говорит, в вагон-ресторан. Сразу недостаток изменится. — Лиза щедрой рукой отрезала любительской колбасы. — А ты, если хочешь, иди. Я сама тут управляюсь. Только печку проверь, а то угорим.

Петр Иванович машинально возил стакан по клеенке:

— Мне ведь, Лиза, что думаешь, выпивка эта нужна?.. Я ведь, если по совести, поглядеть на тебя хожу.

Лиза не удержалась от смеха:

— Да чего ж на меня глядеть? — Но, довольная, украдкой подмигнула Тане — вот, мол, дает старик. — Да и глядеть-то вам на меня, поди, поздноватое? А, Петр Иваныч?

— Вот ты какая. Да я не про то-о. — Он покраснел даже. — Тоже мне выдумала. Я ведь что сказать-то хотел. С лица больно похожа ты на одну... Вот гляжу — она и она. Под Рогачевом это было, зимой, снег вот так же валил...

— Ты закусывай, Петр Иваныч, а то захмелеешь, про записочку мою забудешь.

Но он говорил монотонно:

— Они у нас, Лиза, телефонистками были. Две молоденькие такие. — Отхлебнул из стакана. Лиза с тоской глядела по сторонам. — Первая летом погибла, в июле. На mine подорвалась в лесочке. Прямо рядом с КП. А вторая... Вторая вроде тебя была. Отчаянная какая-то... — Он помолчал. — И без нее мне, Лиза, не было света.

Лиза опять подмигнула Тане украдкой. Но та отвернулась, раскрыла дверцу печки. Красные отсветы заплескали у нее по щекам.

— Да ты послушай. — Вдруг поднял взгляд Петр Иванович. — Дай рассказать... Так вот, значит... Это как раз в зиму было. В такое вот время под Рогачевом. У нас связь порвалась. Она у меня телефонисткой была. А народу в обрез. Послать некого. И пошла она сама, голубка моя, по проводу ко второй батарее... А тут, Лиза, немец как раз в атаку. — Он смолк, вспоминая далекое. — Да... Пошел немец в атаку. И веришь сердцу?.. Накрыл я ее своим же огнем, родимую. Своим же

огнем... А была она уже на пятом месяце. Все никак не хотела от меня в тыл уезжать. «Не поеду, говорит, боюсь за тебя»... Эх, Лиза, Лиза...

Таня замерла у печи. Стало слышно, как потрескивают дрова. Лиза встала и пошла скорее в кладовку — бумагу искать. А как же — дело есть дело. И может, момента больше такого не будет.

Он не поднял головы, слышал, как, простучав каблуками, та скрылась за скрипнувшей дверью. Помедлил, потом выложил деньги и, тяжело поднявшись, двинулся к выходу, повторив на ходу:

— Своим же огнем... Своим же... А сам вот живу...

У дверей долго одевался, не мог попасть в рукава оттаявшего плаща.

И опять было слышно, как угли шурша падают в поддувало.

Из кладовой выскочила Лиза с бумагой в руках:

— Да куда ж вы, Петр Иванович?!

Но он распахнул дверь и, скрипя ступенями, молча ушел в белый мороз.

Лиза стояла растерянная:

— Господи, с чего это он? — Посмотрела на деньги, на Таню, сидевшую на корточках у печи. — Может, ты чего сказала?

Таня молчала с красным от жара лицом.

И Лиза испугалась, крикнула:

— Почему он ушел? Ты чего ему тут сказала?

Таня упрямо глядела в печь.

— Я тебя спрашиваю. — Подскочила к ней Лиза. — Что ты ему сказала? — Она теребила в руках сложенный листок. — Ну вот что, девушка. Хватит с меня твоего характера. Завтра можешь не выходить. Всего хорошего.

Таня поднялась. Медленно пошла одеваться. Но остановилась и поглядела мимо Лизы в пустой и прибранный зал.

— Я ему сказала, чтоб он ничего не писал тебе. Никогда, ничего не писал. — И пошла одеваться.

Ночь была тихой и звездной. Белые крыши домов сияли. Блестела под лунным светом укатанная дорога. И по этой дороге, по морозцу бежала домой через весь поселок Таня. Вот и кончился ее первый рабочий день — День артиллерии.

ЮЖАК

Зоя проснулась оттого, что койка дрожала. Услышала за окном завывающий свист, хлесткие удары снега по стеклам и поняла — южак. Это был первый южак в ее жизни. Что-то новое, экзотическое. Стены барака дрожали. Весь дом трясло при порывах ветра, как в лихорадке. На будильнике было семь. На работу ей к девяти. Зоя

села, довольная, натянула на плечи атласное ватное одеяло. Потрогала на голове бигуди — волосы, кажется, высохли. Сюда, на Чукотку, она прибыла осенью, после курсов. Дома не одобряли, что она пошла на курсы. Мать все печалилась: ну что тебе эти курсы, вот угонят на край света, и забудешь, где дом родной, не женское это дело — по земле шастать. И вот угнали.

В комнате пастурно, пусто. Булкина с вечера ушла на ночное дежурство, и вот нет до сих пор. Небось переживает в диспетчерской, любезничает с Мироновым. Она живо представила их за столом друг против друга и, расстроенная, плюхнулась под одеяло, зарылась поглубже в теплое, мягкое. Это красное одеяло они выбирали с Булкиной вместе, с полочки, в раймаге. «Уж если покупать, так вещь, — говорила Булкина. — Теперь хоть мерзнуть не будешь». У нее самой уже было такое, и еще у нее над койкой паслись по ковру рогатые лоси. Булкина давно тут работала и успела кой-чего накопить. Такой коврик Зойке был, конечно, ни к чему. А вот «золотого» парчового платья, как у Булкиной, у нее не было. Вон оно поблескивает в углу сквозь марлю на плечиках. Зойка закрыла глаза. Ей и глядеть не хотелось на это платье. И вообще, когда Булкина его надевала на танцы в ДК, Зойка старалась с ней не ходить.

Окно прямо стонало от ветра. За переборкой у семейных гремел репродуктор, местная радиоточка: «...Повторяю, ввиду большой скорости ветра движение пешеходов и транспорта, кроме специального, по улицам категорически запрещается...»

А вчера вечером над поселком и торосами Ледовитого стояла небывалая тихая ночь. И небо было звездное, лунное. С работы Зоя шагала по освещенной фонарями Полярной улице. Она начиналась сразу за чугунными воротами электрокомбината, где Зоя работала, и тянулась вдоль побережья. Слева — медовый свет в окнах домов, справа — замерзший океан. Она весело шагала, загребая валенками легкий снег, и сочиняла подружке письмо в Саратов:

«А северное сияние тут, Вер, такое, что прямо сердце заходится. Так и висит, так и висит сосульками. Я уже сто раз его видела. Пишу тебе третий раз, а ты все молчишь, может, замуж вышла? Насчет парней здесь тоже навалом. И на приисках и в поселке. За мной гоняется тут один Миронов. Он у нас инженером. В него тут все втрескались, а у я так и думать о нем не хочу. Ну его, дылда такой...»

На почте было сильно натоплено, по полу — лужи от снега. Зоя купила конверт с авиамаркой — других тут не продают: не могут еще поезда по тундре ходить — и села писать письмо, поджав ноги, чтоб валенки не промокли. Только вывела адрес, только разложила листок, как услышала: «Миронов! Возьмите трубочку! Харьков на линии!» В серой ушанке, в дубленке, он быстро поднялся с лавочки у окна — «дылда такой» — и в два шага уже был в кабине. Захлопнул дверь.

И Зойка видела, как за стеклом он снял шапку и склонился над телефоном.

Писать подружке она не стала, спрятала конверт и прямо по лужам вышла из зала. Он и письма получал из Харькова. Это было известно всем. А туда слал посылки с рыбой. Была у него там какая-то интеллигентка.

За дверь в коридоре, где-то в самом конце, зазвенели, посыпались стекла. Кто-то пробежал, раздались тревожные голоса. «Окно выбило», — поняла Зоя и натянула на голову одеяло. Вот почему у одних все хорошо, а у других плохо? Вот почему, например, Миронов с Булкиной первый здороваются. «Здрасьте, — скажет, — Света, как там дела на углеподаче?» — а вот ее даже не видит небось и не знает, что есть такая на станции. Конечно, она невидная и даже маленькая, а Булкина вон какая, передовая, красивая. И бигуди эти тоже ее. И к чему их закручивать? Что толку? Она разом скинула одеяло, села, стала выдергивать бигуди. Нет, своя внешность Зойке совершенно не нравилась. Но ведь главное в человеке что? Душа! Только надо, чтобы ее видели! Надо сделать что-то такое... Ну, что-то такое, чтобы все сказали: «Вот это Ку-узина!» А Миронов чтоб поразился: «Неужели это та маленькая? Позовите ее ко мне». Сунув бигуди под подушку, она вздохнула: ясно ведь, никогда ей ничего такого не сделать. Щелкнула выключателем — света не было. Значит, где-то обрыв на линии. Значит, рудник встал и, конечно, аврал на станции. Босиком пробежала до батареи, сунула ноги в теплые валенки. Ага! Отопление работает, значит, на первой турбине порядок. А за стеной по радио все повторяли: «Скорость ветра достигает сорока пяти метров в секунду, в порывах до пятидесяти. Движение по улицам...»

На столе в сковородке были котлеты, это Булкина жарила к ужину, и вообще хозяйство вела она. «Ладно, — скажет, — иди, я сама тут сварю». Зоя ей только свой пай отдавала.

В длинном коридоре было темно, горели на всех столах примусы и керогазы. Зоя вынесла сковородку подогреть.

— Доброе утро.

— Какое тут доброе, — усмехнулась соседка Катя с малышом на руках. — Свету нет, хлебом не запаслись. — Она мешала ложечкой кашу. — Он, может, сутки продует, а то и трое. В том году вон крышу с пекарни сорвало.

В конце коридора, стуча молотком, женщины забивали окно листом фанеры. Мужчин не было.

— На аврале все, вездеход приходил, — объяснила Катя. — Проспала ты, девушка.

Зоя поджала губы.

— А мне на работу к девяти.

Та усмехнулась:

— Какая сейчас работа! Южак — стихийное бедствие.

Во тьме загремели края фанеры, забились о раму. В керосинках дрогнуло пламя, тени метнулись по стенам. Зоя подхватила табурет и кинулась помогать.

— Да уйди ты, ради Христа! — закричала старуха, стоя в валенках на столе и спиной подпирая гудящий фанерный лист. — Вот как стеганет, зашибет всех! Давай, Мотя, стучи скорей, сил уже нет! — Снег задувал ей в волосы.

— А мне к девяти на работу, — громко сказала Зоя, но ее не услышали.

Она сняла сковородку, как бы между прочим сказала Кате:

— Пойду собираться. Мне к девяти.

Та улыбнулась, колдуя над примусом:

— Сиди уж, Заяц. Без тебя, поди, справятся.

— Как это без меня?! — вспыхнула Зойка.

У Кати заплакал ребенок, она бросила ложку, стала качать его.

— Господи, да кому ты нужна?.. Там сейчас сильные нужны... Верно, Петечка? Вот как наш папка...

В полумраке комнаты Зоя быстро одевалась. Кому нужна? Ничего, это мы еще посмотрим... И у кого сколько сил — тоже посмотрим!.. Она натянула шарф, кофты — свою и Булкиной, пальто, ушанку. Достала со шкафа защитные моточки. Они валялись там целую зиму. Как-то она полезла вверх, помахав ими, спросила Булкину: «Что, может, на мотоцикл скинемся?» Та подняла от книжки голову: «Положи, положи. Вот южак подует — узнаешь».

Зоя надела очки поверх ушанки. Заглянула в зеркало. А что? Забавно. Прямо как космонавт на старте. Так и явится на работу: «Привет, девочки!» А на Миронова в вестибюле даже не глянет.

В коридоре она чинно прошла мимо Кати и мимо примусов к входной, обитой войлоком двери. Скинув крючок, торкнулась. Но дверь не поддавалась. Катя не поняла даже сразу, что это Зойка удумала. Но кто-то из темноты коридора крикнул:

— Ты что, девка, с ума, что ль, сошла?!

И Катя бросилась вслед с ребенком на руках:

— Ты что это, Зойка? Опомнись! В океан унесет! В торосы! — Она хватала ее за рукав. — У нас в том году мальчика...

Но Зойка уже завелась: «Ну и пусть, пусть!» Грудью она навалилась на дверь и распахнула ее. Вывалилась в гудящую снежную мглу. Захлебнулась, оглохла. Вихрь сбил ее с ног и понес.

— На пятом котле, Крицкий! Подойдите к телефону, — просил в трубку Миронов. — Следите за повышением напряжения... На седьмом котле! Харченко! Как у тебя, Борис?

В диспетчерской, в комнате дежурного инженера полно народу: начальники смен, цехов, дежурные и недежурные техники. Все здесь. И еще подходят. Звонят телефоны. На щите дрожат стрелки приборов. Южак! Первое авральное положение в жизни Олега Миронова. И как нарочно, когда директор на совещании в Магадане, когда седьмой котел не в порядке. И сразу обрыв на линии рудника. И все глаза на него. Что скажет главный?

— Олег Иванович! — слышит он Харченко. — На седьмом короткое замыкание!

— Отключайтесь! Немедленно отключайтесь! — Он встал, длинный, сутулый, в черной кожаной, еще студенческой куртке с короткими рукавами. Вечно ему рукава коротки! Еще класса с пятого мама все рукава ему отпускала.

Он прошел три шага от пульта к окну. Снаружи — серая мгла. Двойные стекла гудят, готовые лопнуть. И это еще за ветром. А что на ветру, на той стороне? В бухгалтерии, в кадрах? Впрочем, там сегодня нет никого, а окна он велел забыть... Вчера он звонил Лоре в Харьков. Два раза звонил, все не было дома. Потом маме звонил. Мама, конечно, была:

— Лелик! Боже мой, Лелик! Как ты там? Что ты не пишешь?..

(Вот уже двадцать пять лет она зовет его Леликом. И он привык. Ему даже приятно. По-домашнему как-то, тепло.)

— Комнату дали, ма. Комнату, двадцать метров. Окно в океан. Шторки уже повесил. Живи не хочу...

Она помолчала.

— Я рада, конечно, Лелик. Но ты ведь один. Надеюсь, что это на тебя плохо не повлияет?

(Ах, мама! Она все боится, что он тут женится, на Чукотке, что попадет ему, конечно, «не то».)

— Нет, мама, нет. Скажи, Лора тебе не звонила? Как она там?

— В субботу звонила. Она посылку твою получила, сказала — рыба прекрасная. У них все в порядке. Сына к логопеду устроила. Лора в бегах, книжку сдает. А Костя ее опять едет в командировку. Вообще Лора меня не забывает. Я рада, что у тебя такие друзья. Лелик, ты там не мерзнешь? Я недавно шерсти достала...

«Значит, у них все в порядке... И с Костей тоже. И сына устроила к логопеду... Что ж, к логопеду — это, конечно, хорошо...»

В диспетчерскую входили и выходили. Из турбинного зала доносился гул генераторов. Вот ввалились слесари-ремонтники Мартикян и Юрочка. Мокрые, красные, с лиц течет, полущубков не могут снять: пальцы не гнутся.

— Шурфовщиков привезли на смену, — пыхтит Мартикян. — От вездехода до двери еле добрался. Меня об лестницу приложило. Ладно, шапка толстая, голову не пробило. Чай-то горячий есть?

А Юра смеется:

— Были в штабе по борьбе со стихией. Во где делов-то. В порту «ганса» опрокинуло, в океан швырнуло. Один «хвост» торчит. Не шутка — порталный кран.

Миша-диспетчер наливал им в кружки чай.

— Вы вот что, не раздевайтесь. Людей не хватает.— Миронов не смотрел на них, отвернулся к распределительному щиту.— Возьмите Петрова и быстро к озеру. Насосы проверить, и трубы чтоб не промерзли.— Добавил:— И без монтажных поясов чтоб ни шагу.

И снова звонок. Миша взял трубку и сказал радостно:

— Олег Иванович! Обрыв на линии Валькумей устранен.— Он обожал инженера, прямо в рот смотрел. Даже куртку носил такую же.— Что дальше, Олег Иванович?..

«Валькумей, правда, слово красивое? По-чукотски — это гора ветров, — писал он летом Лоре в Харьков, — совсем рядом отсюда. Но ветров сейчас нет. Сопки в цветах, и солнце всю ночь напролет. В общем, чудо. Тебе понравится. Я жду вас с Егоркой в августе, как мы решили. Ему тут сюрприз — поймал полярную мышку, пушистого серого лемминга, живет в коробке из-под обуви. Так что хозяйство мое увеличилось, ждет тебя. С продуктами здесь хорошо, с детсадом тоже, я все узнал. И комната будет. Даже квартира. Лорка! Семейным квартиры дают. А мы же будем семейные! Ведь так? И я тебе... обещаю, все у нас будет, все. Представь, здесь даже духи есть французские... Приезжай. Жду, как договорились...»

Он подошел к микрофону, тихо сказал по внутренней связи:

— Внимание на рабочих местах! Включаем рудник Валькумей.— И низкий, спокойный голос его загредел по всем залам станции: «Включаем рудник Валькумей! Через второй трансформатор!.. Внимание на рабочих местах!»

Ни боли, ни жгучего ветра Зойка не чувствовала. Она, как кошка, вцепилась руками во что-то твердое и держалась. Кажется, это были доски короба — обшивка труб отопления. При сильных порывах доски гнулись, пружинили, готовые оторваться. Зоя уперлась ногами в снежный заструг и стала медленно поворачиваться к ветру спиной. Под очками было мокро, снег забил стекла. Она разглядела лишь тонкие столбики над сугробом. Кажется, это были перила, что за сберкассой. Сколько же ее пронесло? Но главное в сторону комбината. Лишь бы не мимо... Лишь бы не мимо... И вдруг сквозь свист она расслышала стук мотора. Вездеход! Или трактор!.. Звук приблизился. И вот сквозь снежные языки пробился свет фар, проступило пятно тягача. Он был совсем близко, рядом лязгали гусеницы.

— Э-эй! Э-эй!..— Зойка захлебнулась.

Тягач надвигался темной стеной.

— Э-эй! — заорала она что было сил.

Стена проходила мимо. «Не заметят ведь... не заметят!» И, оторвав одну руку от досок, отчаянно замахала над головой.

— Я здесь! Эй! — Снег захлестнул лицо. Сорвал очки. Она зажмурилась. Звук мотора стихал. И совсем умолк. Будто уши забило ватой. Что же делать? Что делать? Как глупо все. Катя сказала, в прошлом году мальчика унесло. Теперь вот ее. Вот он и есть, край света...

В диспетчерской — как в шторм на капитанском мостике. У распределительного щита вахтенные, у пульта даются команды, принимаются сведения. И Миронов, как капитан, на голову выше всех, тихо шагает меж столов, аппаратов.

— Вы бы хоть чаю хлебнули, Олег Иванович. — Миша вытащил из ведра кипятильник. — Заварочка свежая. На ведро как раз две пачки идет.

Миронов не слышит, смотрит на красные и зеленые огоньки пульта.

— Вольнов!.. Почему кислород завышен?.. Проверьте давление питательной воды.

Пришли ремонтники с трансформаторов. Звеня монтажными поясами, сели на лавки, никак не отдышатся. На пол с них потекло.

— В том году тоже дуло. — Миша заботливо заварил чай, поглядел на главного. — Метров тридцать, правда, не больше. Ворота наши чугунные в океан унесло. Завхоз все плакал.

По связи опять загрело:

— Диспетчер! На седьмом ликвидировал замыкание! Даешь разрешение на включение?

Миша кинулся было, но Миронов ответил сам:

— Включайтесь. Следите за охлаждающими насосами. — Он сел к столу, полистал дежурный журнал, почувствовал, что устал. Раньше такого не было. Это, наверно, от курения. Не стоит так много курить. Мама всегда ругала его за это. Лора тоже ругала. Особенно когда он бывал у нее. «Олег, родной, — просила она, — не кури хотя бы с утра. На голодный желудок». В светлом халатике, волосы по плечам, она привычно открывала балкон и шла ставить кофе. Кажется, как давно это было!

В первый раз он увидел ее на сцене, в политехническом. На студенческий вечер прибыли поэты, местные знаменитости. Народу набилось жутко. В черном платье, с русым пучком на затылке, она тоже читала стихи. Нет, она не читала, а пела:

Весна. Бормочет обалдело
Всю ночь ручей под звонкий всхлип
В последний раз обледенелых
Тонкоголосых, стройных лип...

«Почему всхлип, почему тонкоголосых?» Он, ироничный дипломник в кожаной куртке, сидел в зале, нога на ногу, среди восхищенных сокурсников и снисходительно слушал. Стихи были слабые, это он понял сразу, как говорят, женские. Но она все читала, читала, бережно выдыхая каждое слово, и привставала на цыпочки. Он стал вслушиваться и постепенно, с интересом глядя на стройную женщину на каблучках, стал все принимать всерьез.

Хочу, чтоб вечно было лето
И плыли радугою блики,
Сиреневым осколком света,
Голубизною голубики...

Да, он принял ее всерьез, и потом всегда, все, что касалось ее, даже слабые ее стихи, принимал всерьез, всем трепетом сердца. В том зале была их первая встреча. Тогда у нее уже были сын и муж.

Миша-диспетчер подал трубку:

— Олег Иванович! — А в глазах такое сочувствие. — Шли бы домой, вы же тут с ночи.

В трубке гудело, но сквозь шум Миронов расслышал:

— Булкина говорит. У нас вагонетки для вывоза шлака в отвал побросало. Прямо с грузом. Бункер переполняется!

— Какой агрегат это, пятый? — Он встал. — Я сам приду! — И Мише — спокойно: — Останови пятый котел. Приготовься к пуску шестого. Синоптикам позвони и в гараж, чтоб вездеходы прислали.

Миша развел руками.

— Да нету ни одного. Все наши на линии. Вот хоть мастеров спросите.

Олег нахмурился.

— Спроси у геологов, у спасателей. Но чтоб транспорт был. Нужно в первую очередь женщин сменить на вахтах, — и пошел к двери, сунув в карман сигареты. Выходя, услышал восхищенное: «А ничего у нас главный!..» «А ты думал? Как дирижер!»

Зоя пыталась двигаться. Медленно перебирала по доскам руками. Пальцы закоченели и боли не чувствовали. Валенки были набиты снегом. Южак толкал ее, рвал от короба. Но рук отпустить было нельзя. Она почему-то вспомнила старую детскую сказку — оторвешь лепесток цветика, и любое желание исполнится. Вот если б ей сейчас такой лепесток — она хотела бы очутиться у самых дверей общежития. А впрочем, нет, она все равно не смогла бы открыть их. Лучше уж к маме, в Саратов, на кухню. Мама гремит кастрюльками, пахнет супом. «Вот я же тебе говорила...» — заведет сразу мама. Нет. Лучше на станцию. Конечно, на станцию. И в вестибюле сказать, на

удивление Миронову: «Я вообще опаздывать не люблю. Тем более на работу...» Сквозь вихрь Зоя увидела, как мимо по дороге, подсакивая, словно мяч, пронеслась железная бочка. Потом, не касаясь земли, как спичечные коробки, пролетели ящики — один, второй, третий. «Забор на складах снесло, — догадалась она. — А как же на станции? Все с девяти на работе. Даже Булкина там, и девочки в бухгалтерии. Миронов покуривает в тепле. И ведь никто не знает, никто не знает, что она тут гибнет, что ее почти уже нет, что стоит разжать руки...» — Она захлебывалась ветром, в глаза хлестало, стоять уже не было сил. Она зажмурилась и разжала пальцы.

В просторном турбинном зале плыл ровный, спокойный гул. Олег медленно шел по красному кафелю пола и этот мощный, горячий гул слушал, как музыку. Он любил этот чистый огромный зал. Для него этот зал был как сердце, сердце станции или даже как собственное. От работы турбин здесь сам воздух был в напряжении, пол дрожал под ногами. И по этому полу мягко ступали его ботинки. Ботинки эти прислала мама, чешские, на меху. Его большой размер всегда было трудно найти. И мама после работы в библиотеке что-то вечно ему искала и доставала. Даже теперь, когда он уехал.

У седьмого генератора Миронов остановился. Прислушался. Сейчас в Билибине строилась атомная электростанция. Недавно его пригласил туда работать товарищ по институту, но он отказался. Он прижал ладони к обшивке седьмой турбины, постоял, ощущая дрожь и живое тепло. Механизм был старенький, но держался.

Из-за стола вскочил дежурный паренек, в шапке с опущенными ушами и в майке:

— Здравсьте, Олег Иванович.— Из-за шума голоса не было слышно.

Миронов кивнул, улыбнулся:

— «Вокруг света» читаем?

Тот понял его по губам, смутился, задвинул ящик стола.

Олег еще школьником знал этот способ. Дома вместо уроков вот так же выдвинешь ящик стола и читаешь. Мама заглянет: «Как, Лелик, алгебра?» И в институте на лекциях так же. Очень удобный способ... Без книг он не мог. Когда уезжал из дому, вез сюда только книги. И Лора ему присылала. Иногда очень ценные, редкие. Как-то Бодлера прислала, правда, с возвратом. Это был ее любимый поэт. Ни в августе, ни в сентябре она к нему не приехала. А в октябре он получил из Болгарии красочный вид «Золотые пески» — море и ослепительный пляж. Открытка была прекрасная, он повесил ее у себя над кроватью. «Милый! — писала она размашисто. — Эта поездка такая случайная. И не в радость она без тебя. Когда же мы вместе увидим море?! Уж года три собираемся. Займись этим сам, ты же умница и все устроишь

с путевками. Твои возможности на Чукотке теперь возросли! Ты большой инженер...» О муже она не писала. Он тоже был инженером. И был с нею в Варне. Олег узнал это позже, случайно, от мамы.

Он шел по станции, по узким грохочущим проходам у агрегатов, по тихим, пустым коридорам администрации. Вверх-вниз по холодным лестницам, через две-три ступени, не держась за перила.

Зойку с размаху ударило, привалило к чему-то твердому. Она лежала без шапки, темным кулем, не чувствовала ни рук, ни ног. Лежала и слушала ровный вой ветра. Снежные языки быстро запорашивали волосы, наметали под спину плотный сугроб. Она лежала и думала, что вот еще не замерзла, но, наверно, скоро замерзнет. Ее, конечно, найдут. В вестибюле повесят портрет с траурной лентой, и все будут мимо ходить, и плакать, и вспоминать, какая она была скромная, смелая. Только вот где они возьмут хороший портрет? Можно, конечно, увеличить фотографию с пропуска. Или Булкина отдаст ту, где они вместе сфотографированы у клуба. Себе-то Булкина вон какую для Доски почета отгрохала, а вот Зойка не позаботилась. Она почувствовала, как тает под щекой снег и сосульки волос треплются по лицу. А лежать она будет в гробу, в месткоме. А может быть, в зале. В зале, конечно, лучше. Инженер Миронов скажет прощальную речь, ему будет стыдно за свое невнимание, он смахнет слезу и поцелует ее... Зойка чуть приоткрыла мокрые глаза. Сквозь снежные языки мелькало что-то красное, какие-то красные пятна. «Ну, вот и умираю», — подумала она, но все же с трудом протянула вперед руку. Пальцы наткнулись на твердое. Что это? Это был забор, а выше оборванные лохмотья афиши. Вот «Т», вот «А», разобрала Зойка, и вдруг поняла: «танцы». «Танцы!» — ведь эту афишу клеили на заборе у самых ворот станции! У самых ворот! Значит, если идти налево, забор должен кончиться, и она сразу попадет во двор... Зойка с трудом перевалилась на грудь, медленно подтянула коленки, уперлась в снег и стала вставать по стенке. Красные буквы рябили теперь у самых глаз. Уткнувшись в забор, она шагнула раз, другой и поняла, что одного валенка нет.

У месткома на стенде Олег увидел стенную газету «Электрон». Название это вместо «Электрик» придумала мотористка Света Булкина. Что ж, романтичней, конечно. На днях она в обед подошла к нему в буфете, попросила написать заметку о международном положении. А он вот забыл. В общем, она славная, эта Булкина, только очень уж правильная какая-то, уверенная. Олег таких не любил еще с института, «вечные старосты». И Булкина эта была и в бюро, и в самодеятельности, и в клуб приходила в каком-то немыслимом платье.

Миронов вышел в большой вестибюль. Пятый котел и шестой находились в новом корпусе, через двор. Олег поднял на кожанке «молнию» и распахнул высокую дверь.

В студеной несущейся мгле он сразу увидел вдали знакомые очертания нового корпуса. Он, словно корабль с дымящейся трубой, плыл в высоту. А внизу мелькал слабый свет фар. Это, должно быть, бульдозер Краснова подавал на решетки уголь. Прикрыв рукою лицо, навалившись грудью на ветер, Олег пошел прямо туда, на углеподачу. Холод пронизывал тело, надувал куртку, хлестал по глазам... «Лора! Лора! — звонил он ей в декабре. — Наш лемминг стал уже белым, совсем поседел. Скажи, когда ты приедешь ко мне, навсегда? Ну, хочешь, я прилечу за тобой? Ты любишь меня?» «Ах, Олег, ну, конечно, люблю. Но что за горячка? — она тихо вздыхала. — Болен Егорка, опять катар. И с книжкой в издательстве плохо. Ты веришь, я так устала...» Сквозь расстояния и годы она держала в руках его, как птицу. И он ей верил, он снова ей верил. Егор болел уже свинкой и скарлатиной, а теперь он лечился у логопеда.

Ветер сбивал Миронова с ног, будто хотел выхлестнуть душу из тела, но он, согнувшись, упрямо шагал на свет. Свет фар был уже близко. Бульдозер медленно развернулся, и в вихре угольной пыли Олег увидел фигуры шурфовщиков. В защитных очках, они были черны и одинаково неузнаваемы. Наполненные скипы — ковши уползали вверх и где-то там, в непроглядной выси, опрокидывались в бункера котлов. Вот рядом из темноты выросла плечистая грузная фигура. Миронов сразу узнал парторга Санько: весь нараспашку, полы пальто бьются, как крылья, лицо черно — усов не видать.

— Шестой котел пустили! — тяжело дыша, кричал он. — Дали ток на поселок, диспетчер звонил! А на пятом ремонтники, бригада Лапина! — ветер рвал слова прямо с губ. — К мотористам зайдете?!

Олег кивнул.

В помещении мотористов окна были забиты фанерой. Во все щели текли струи черного снега, пол устилала плотные угольные сугробы. За пультом в ушанке и подпоясанном комбинезоне стоял моторист. И только по вязаным маленьким варежкам Олег понял, что это женщина, что это Булкина. На почерневшем лице ее краснели воспаленные глаза. В этом свисте и грохоте обледеневшими варежками она нажимала на кнопки и рычаги и, следя за погрузкой, во всю мочь читала: — Я земной шар чуть не весь обошел! И жизнь — хорошо, и жить хорошо!..

Санько усмехнулся:

— Ишь, самостоятельность. Совсем наша Светка с ума сошла. — И строго взглянул на инженера: — Менять надо вахтенных, вот что. Устали люди. С девяти транспорта ждем.

Олег стоял пораженный.

Скипы, покачиваясь,плыли вверх, и в их гуле звучал простуженный Светкин голос: «А в нашей буче...»

Олег повернулся и пошел в коридор, все еще слыша: «...боевой, кипучей...»

Насчет транспорта можно было узнать по связи, но Миронов теперь сам шел в диспетчерскую. Быстро, размашисто вдоль длинного коридора. В конце его, у распахнутой в тамбур двери, толпились сменные шурфовщики и бульдозерист Краснов в лохматой ушанке.

— Что тут такое? — подошел Миронов.

— Да вот, Олег Иванович, во дворе наткнулись. — они расступились. — Еще бы малость и замерзла.

На лавке, привалаясь к стене, запрокинув голову с обледенелыми волосами, сидела маленькая девушка в заснеженном пальто, без валенка. Лицо было бледно, глаза закрыты.

Кто-то сказал:

— Кузина это. Наша кассирша, из бухгалтерии. — И пошутил невесело: — Видать, на работу шла. Работа пуще неволи.

— Быстро вызвать по связи врача! — велел Миронов. И наклонился к ней: — Вы меня слышите, Кузина?

Ветер поскрипывал дверью в тамбур. Шаги удалялись по коридору.

«Вы меня слышите, Кузина?» — Она медленно открывала глаза. Перед ней был Миронов. Сам инженер Миронов. В черной кожаной куртке он стоял прямо перед ней и смотрел. Стоял и смотрел, дылда этакий. И слезы заволокли ей глаза.

Вдруг: — Зо-ойка! Зоенька! — крик прокатился по коридору.

И налетела Булкина, растолкав всех, кинулась к ней:

— Зойка! Зоенька! Ты жива? — Она тормошила ее, расстегивала пальто. — Ну зачем же ты, Зоенька? Зачем ты пошла? — Черные слезы текли у нее по щекам, она опустила перед ней на колени, стала стаскивать валенок. — Ничего, ничего, скоро врач будет, Зоенька. Скоро врач.

Миронов повернулся к Краснову:

— В санчасть ее надо. Минут через десять позвоните мне в диспетчерскую, скажете, как дела, — и вышел в тамбур, закрыв за собой дверь.

Здесь было темно и холодно. И гудело, как в бочке. Странно, почему до сих пор он не знал этой Кузиной. Два раза в месяц он получал зарплату и видел одни только руки, одни только быстрые руки. Он достал сигареты. С удовольствием закурил. Свет спички метнулся по ящикам у стены, по заснеженному полу. Нет, он не устал. Напротив, Миронов чувствовал напряжение. Это был первый настоящий южак в его жизни. И он собрал в нем все силы и не давал ослабеть.

Олег сел на ящик. Огонек сигареты, вспыхнув раз и другой, осветил лицо. Вчера на почте по телефону мама радостно сообщила, что Лора

с мужем зовут ее в театр: «Лелик, она всегда так внимательна». Ах, мамочка, мама!.. Лора действительно очень внимательна. Она все продолжает писать ему нежные письма размашистым почерком, в гостях у мамы пьет чай с вареньем, мило расспрашивает о нем, а вечером кормит мужа шницелем и расстигает постель...

Он вытер ладонью лицо, будто хотел стереть что-то в памяти. Но память не отступала. Он почему-то вспомнил стихи. Как Лора читала, нет, не читала, а пела: — Веду с ветрами разговор, В студеных реках руки мою И жгу костры средь синих гор...

Какие там реки! Какие костры! Не про нее все это. Говорить-то она научилась, но не понять ей этого никогда. Фальшь все, фальшь.

Красный огонек сигареты спокойно проплыл в темноте.

Вчера, придя с почты, он долго сидел в пустой новой комнате. Не раздеваясь, не зажигая света. Синело небо в окне, лемминг тихо шуршал в коробке. Наконец Олег поднялся. Снял со стены открытку — море и ослепительный пляж, сунул в ящик стола. Взял коробку с пушистым зверьком и вышел на улицу.

Вокруг светились окна поселка. А сразу за домом был океан. Торосы тянулись вдаль и сливались с небом. Олег бережно вынул зверька, подержал на ладони теплый белый комочек и опустил на снег. Тот сразу будто растаял. Исчез, как и не было. Только пустая коробка в руках.

Миронов докурил в темноте и поднялся. «Надо будет узнать, как там эта... Кузина. Чудачка. Шла на работу... Очень милое у нее лицо. Какое-то детское, даже мальчишеское. Как я раньше ее не видел?..» За стенами бушевал южак. Бушевал над станцией, над поселком, над всей Чукоткой. Настоящий февральский южак, за которым обычно потом приходила оттепель. В тамбуре скрипел снег под ногами. Миронов нащупал ручку и с силой толкнул плечом гудящую дверь.

ЛАМБУШКИ

В длинном переходе у станции метро «Белорусская» Игорь Анохин попал в затор. Он медленно двигался в плотном потоке людей и, приподняв портфель, слушал, как раздается под сводами шарканье множества ног. В час «пик» он не любил сутолоку метро и обычно ездил с работы домой троллейбусом. Это было удобней. Но сегодня с утра его вызвали в главк на совещание, а оттуда заехал к теще. Через неделю он собирался в отпуск с женой на юг, и надо было к кому-то устроить собаку. Дней на двадцать. Но это оказалось не просто. В прошлом году теща брала ее, а теперь категорически отказалась. «Я понимаю — болонка. Болонку я бы взяла. А ведь это теленок, а не собака. И выводить и кормить. Нет, Игорь, нет. Как хочешь, но у меня

давление и соседи...» Болонок Анохин терпеть не мог, и теща это прекрасно знала. У него был пойнтер, отличный трехлетний пойнтер. Когда-то Анохин мечтал об охоте, даже купил дорогое ружье. Но так и не выбрался ни разу, все как-то не удавалось.

В конце перехода над головой Анохин увидел голубой, легкий шар. Он покачивался под низким беленым сводом, а, наверно, мог бы подняться до самого неба. Но здесь вот оно и кончилось, все его небо. Сзади кого-то громко звали: «Гарик, Гарик!» — наверно, потеряли ребенка.

Ближе к широкой лестнице толпа поредела, дышать стало легче, свободнее. Он спустился вниз, к поездам, и опять услышал: «Гарик! Анохин!» С удивлением оглянулся — не его ли? — и увидел, как сквозь толпу к нему пробирается какая-то розовощекая женщина в очках и светлом платочке.

— Ну, здравствуй. А я смотрю, вроде ты или не ты? — сказала она, наконец подойдя и быстро дыша. — Здравствуй. Ты что же не откликаешься? Я зову, зову.

Он смотрел, с трудом узнавая ее:

— Боже мой, Лиля. — Да, он не видел ее лет пять, с самого института. — Лилия. Какими судьбами?

— Я так боялась потерять тебя в толпе, — быстро говорила она. — Так боялась. У вас тут такая сутолока.

— Идем в сторону. — Он взял ее под руку, пропуская вперед себя.

Как сильно она изменилась! Стала как-то шире, полней. Или это фасон пальто такой неуклюжий, провинциальный. А ноги? Ноги все те же. Очень красивые ноги.

— Ну, вот. Кажется, здесь потише. — Она села в каком-то простенке на мраморную скамью, сунула перчатки в сумочку. — Садись же, садись.

У него в портфеле стояла банка тертой смородины, от тещи. Он не любил эти вечные передачи, то пироги от матери, то варенье от тещи. Но брать приходилось, и он осторожно сел, поставив портфель на колени.

А она все смотрела на него и смотрела — на черты лица, на портфель, на руки.

— Ты знаешь, я просто не верю, что это мы. Ты и я. И опять в метро и опять «на кольце». — Она волновалась. — Помнишь, как «по кольцу» катались? — Но перебила себя: — Ну, ладно. Рассказывай, как ты, что ты? Рассказывай самое главное.

«Ну, что ей рассказывать? — подумал он. — Не об утреннем же совещании».

И улыбнулся шутливо.

— О, я теперь большой начальник. Организуется новый отдел. Вот предложили возглавить. Аж сам не верю, честное слово.

Она обрадованно кивнула:

— Мне говорил, говорил Садовский, что ты процветаешь. Но что с твоей наукой? Что с диссертацией? Я всегда думала, что ты...

— Это какой Садовский, рыжий такой? Из управления?

— Ну, да! С факультета мостов. Он часто бывает в Карелии. Ко мне в институт заезжает. Гостит.

Тонкие, золотые очки ее оттеняли нежность кожи и прежний девичий румянец. Нет, пожалуй, она была по-прежнему хороша. А может, и эти очки были все те же? Когда-то первый раз он поцеловал ее на Стормынке поздним вечером у общежития. Она ела яблоко, и он ощутил на губах яблочный вкус, услышал дыхание и легкий шепот: «Гарик...Ну, пусти, сумасшедший...Сломаешь очки... Гарик...»

— Так какими же ты судьбами?— спросил он, отводя взгляд.

— Отгадай.— Ее глаза стали лукавыми, озорными.

— В лотерею выиграла?

Она сказала победно:

— Привезла метроном на выставку.

— Занятно. Это какой же?

— Свой, электронный, с электрическим счетчиком. Импульс — семьдесят.— Она, как и раньше, была такая ясная, свежая.— Ты знаешь, я работала с патентным фондом — и нигде ничего подобного! Сказали, прибор уникальный.— Она сияла, можно было подумать, что в жизни у нее все очень просто и очень гладко. — А знаешь, что это такое? Это же новая программа. Перестройка всего учебного процесса.

...Когда-то из-за нее Игорь еле вытянул пятый семестр. На пять месяцев лишился стипендии. Она доставала какие-то бесплатные контрамарки, абонементы и водила его по выставкам, по концертам. На Баха, на Генделя. А он под тяжкие и в общем-то чуждые ему звуки органа смотрел на ее зачарованное лицо и жадно думал, как вечером в общежитии, пока нет соседки Бобровой, будет целовать эти щеки и губы. Но обычно в общежитие после одиннадцати чужих не пускали. А он был «чужой», он был москвич и был дома. И тогда он подолгу сидел во дворе, на холодной траве, прислонившись спиной к коричневой стене трансформаторной будки, и в вышине среди множества окон видел только ее окно. А когда оно за полночь гасло, медленно разговаривал с ней, долго и нежно. Верил, что, лежа в постели, Лиля слышит его. Он всегда верил в силу своей телепатии...

— В сентябре всесоюзная выставка, — быстро говорила Лиля.— Я так волнуюсь... А знаешь, кто будет в жюри? — У нее были прежние, пухлые, детские губы. Сколько раз он касался их своими губами.— Профессор Комов. Николай Иванович Комов. Помнишь, что мы на его лекциях вытворяли?— И засмеялась тихонько, поправила сумочку на коленях.

...Он так был влюблен в эту женщину! Такого с ним в жизни больше уж не было. И никогда не будет. Со Стормынки домой на Мосфильмовскую он ночью шагал через всю Москву. Не шагал, а летел. Через

улицы, через площадь, по пустынной набережной Москвы-реки. Блестела черная, густая, как масло, вода, и ясный холодный воздух был напоен осенней терпкой листвой. У двери он долго и беспрестанно трезвонил, потому что мать в последнее время, чтоб знать, когда он вернулся, стала нарочно закрываться на цепочку.

«Ма-а!» — закричал он однажды сквозь дверь. — Ма-а, открой! Я женюсь!»

Та открыла испуганно. Стояла в длинной ночной рубашке, бледная, маленькая, сухая. Отвернувшись, быстро пошла ставить чай, загремела посудой. В кухне он весело подсел к столу, ужасно хотелось есть, зачерпнул ложкой варенье — мать как раз варила на зиму варенье. И запах смородины сладко и густо ударил в нос. Мать зажгла газ, тихо спросила:

— Ты что ж, решил бросить учебу? Или, может, уйти из дома? — Губы ее задрожали. — Решил зачеркнуть все свое будущее? — Сквозь слезы она смотрела на синее пламя горелки. И пламя дрожало и расплывалось. — А я думала, сын, я тебя хорошо воспитала... Приходишь бог весть когда, кричишь на весь дом. Это что, для соседей?.. Ах, если б был жив отец... А впрочем, я во всем виновата сама... — Она почти плакала. — Я все... я все тебе позволяла.

— Ну, зачем ты так, ма? — Он встал, обнял ее за худые плечи. — Ну, зачем ты, ма?

И она зарыдала горько, как маленькая, уткнувшись ему в плечо.

— Запомни, милый. Мать у тебя одна... А этих... девушек будет еще очень много... — Голос был глухой, срывающийся. — У тебя все еще впереди. Все впереди.

Он погладил ее сухие, рыжеватые волосы, совсем седые в проборе. Подумал, что, может быть, мама в чем-то права... Да, пожалуй, в чем-то права. Куда торопиться?

...На пятом курсе он стал встречаться с Лилей реже. Она всерьез занялась метрономом, упрямо и увлеченно. Концерты их кончились. Но по-прежнему со стипендии она покупала дорогие пластинки и вечерами слушала их. Даже когда удавалось побыть вдвоем. А Игорь устал от Баха и Генделя и уже не терпел их. В темноте, лежа с ней рядом, когда наконец звуки стихали, с удовольствием слушал сухое потрескивание пластинки. Она хотела подняться. Но он удерживал: «Пусть». Она вырывалась: «Ну, что ты, Гарик, так нельзя. Это же музыка», — и босиком легко бежала к приемнику у окна. И вдруг застывала. На улице в свете фонарей хлопьями падал снег, точно в сказке. И прохожие в белых накидках неслышно двигались, словно под музыку, словно по сцене. Игорь поднимался сердито, включал свет. И все исчезало. Лампа сразу слепила глаза. «Ну, что ж, мне пора. А то Боброва скоро явится». Хотя прекрасно знал, что у Бобровой сегодня лабораторная до девяти. Просто он никогда не любил серьезной музыки. Он любил танго и блюзы, а в последнее

время любил бега. «В этом что-то есть, — стал часто говорить он. — Что-то есть. Красота, скорость, азарт».

...В метро стоял гул, шли люди, шли поезда по кольцу, но Лиля этого шума как будто не слышала. Словно они были тут только вдвоем.

— Это удивительная машина, — говорила она улыбаясь, — когда я нажимаю на клавиши, смотрю на зажженный экран и вижу бегущие цифры, мне кажется, я слышу музыку... — Он смотрел, удивляясь все больше, как могла она сохранить эту прежнюю непосредственность. — Завтра в два часа заседание оргкомитета. В общем-то я спокойна, хотя столько споров вокруг. — Лили поправила косыночку. Ни колец, ни маникюра на руках ее не было. Призналась, вздохнув: — Боюсь я только за шаговый искатель. Надо было сделать мощнее выход блока питания...

Слушая ее, он вдруг вспомнил о сегодняшнем бурном совещании. С «Первомайского» рудника прибыл механик и устроил скандал из-за задержки оборудования. Механик был прав, но к Анохину это не имело прямого отношения, и он сидел скучный, крутил по столу зажигалку, соображал, к кому бы устроить на месяц собаку. А в перерыв, в буфете, все же подсел к механику, решил посочувствовать, даже стал возмущаться волокитой. Но тот вдруг перебил резко: «А что ж ты не выступил?» Анохин пожал плечами: «Чудак. Что б от этого изменилось?» Тот резко отодвинул тарелку: «Вот так один не выступил, другой. А для чего тогда фигу в кармане показывать?» — И сразу ушел. Анохин усмехнулся и заказал двойной чай с лимоном. Вообще-то этот механик ему понравился. Может действительно надо было бы поддержать?..

Лилия вдруг заметила, что он слушает невнимательно.

— Ну, в общем, в декабре у меня защита. Прилетай, если сможешь. Я буду рада. Покажу тебе наши леса, наши озера, Карелию.

...На пятом курсе в день защиты ее диплома он хотел заехать к ней в общежитие. Поздравить. Но живо представил, как она, торопливо переодеваясь за дверцей шкафа, весело заставит его и Боброву резать овощи для салата. А сама будет бегать на кухню и к телефону и в коридоре принимать от всех поздравления. Потом в тесной комнате, где он привык быть с нею вдвоем, станет шумно илюдно. Припрется Садовский, и кто-нибудь обязательно подарит ей пластинку Моцарта или Баха. И он не поехал. Поздравил ее по телефону из автомата, чтобы дома не волновать маму. А вскоре Лилия распределилась куда-то на Север, он даже забыл куда, хотя вполне могла бы остаться в Москве: у нее рядом, в Клину, жила старая мать. Как давно это было!

...Она тихо коснулась его руки:

— Ты о чем сейчас думал?

— Да так, — пожал он плечами. — Юность вспомнил. Студенчество.

— О-о.— Ее взгляд стал ласковым, синим.— Это было совсем недавно, как будто вчера. Помнишь осень в Останкино? Костры рыжих листьев. И я потеряла перчатку... А у тебя такие же худые руки.— Она замолчала надолго, и он сразу услышал гул поездов, шарканье ног, увидел часы над туннелем. Большой светящийся циферблат и стрелки. Боже мой! Дома его уже ждали к ужину.

— А знаешь, что значит «ла́мбушки»? — Она подняла глаза.— У нас в Карелии «ла́мбушки» — это маленькие озера, разбросанные в лесах, как блюдечки. Как голубые северные глаза.

Он улыбнулся. Она и раньше была забавной, находила во всем чудеса, задавала смешные и неожиданные вопросы. Как-то зимой они выстояли длинную очередь, но им не досталось билетов на «Чайку». Лиля в легком пальто шла рядом с ним по скользкому тротуару и плакала. «Ну, перестань,— просил он.— Перестань». Он стыдился прохожих: могли подумать, что он обидел ее. И вдруг она спросила сквозь слезы: «А правда, что в крови человека есть золото? — И подняла голубые заплаканные глаза.— Неужели во мне тоже есть?»

— Вообще я ужасно завидую вам, москвичам,— говорила она.— Вчера на Новом Арбате совершенно свободно купила Ахматову. Взяла сразу пять экземпляров, для наших, на работе. Мы иногда устраиваем в отделе поэтические вечера.

«Странно, почему она не выходит замуж, такая красивая. Ведь могла бы и за Садовского. Он еще с института влюблен в нее».

— Да, мне тоже достали Ахматову,— сказал он и вспомнил, что до сих пор не раскрыл ее. Сунул куда-то на полку.— А кстати, как у тебя тут со временем?

Она обрадовалась:

— О, я свободна. Я совершенно свободна. У меня целых три дня. Представляешь, что значит — три дня в Москве?

Ее, конечно, нужно было бы пригласить в гости. Но он молчал. Она спросила:

— Ты в каком районе теперь живешь?

— На Беговой. Кооператив купили, три комнаты.— В конце концов что тут такого, пригласить ее в гости? Просто сокурсники, друзья юности. Вот так — взять и привести. Познакомить. Но представил лицо жены и разговоры потом.

Она улыбнулась грустно:

— Вот твоя мечта и сбылась. Наверно, ипподром прямо под окнами? Бега, скачки по кругу? Ты и тогда любил лошадей.

Он кивнул:

— Да, да. Квартира приличная, с балконами. Правда, уже ремонта просит, все времени нет. И книжных полок хороших никак не достану. Знаешь, раздвижные такие? Очень удобно. Говорят, в Таллине есть, все хочу съездить.— Конечно, можно было бы пригласить ее

в ресторан, посидеть по-человечески. В «Арбат», например. Она наверняка не была там. Но теща, как всегда, очевидно, уже позвонила домой и сообщила жене, что он выехал. Да еще в портфеле была эта чертова банка с вареньем.— Понимаешь, у меня сейчас проблема,— сказал он озабоченно.— Едем в отпуск и надо куда-то собаку пристроить, дней на двадцать. Пойнтер, хорошая родословная.— Он оживился: — И такая умница. С полуслова все понимает. Мы такие друзья. Представляешь, идем с ней как-то на скачки. Я говорю: «На какую ставим, Джери?» А она вроде подумала и лает три раза. Ну, поставил на тройку. И действительно, выиграл! Представляешь? — Он засмеялся с оживлением, с искренним удовольствием.

Она кивнула:

— Я знаю. Мне говорил Садовский, что хорошей породы и из хорошей семьи.— Щелкнув замочком, достала из сумки перчатки, стала натягивать их.

Из туннеля с шумом надвинулся поезд.

— Ну, мне пора.

— Что так вдруг? — Они поднялись. Он все же сказал для приличия: — Может, зайдешь, позвонишь? Запиши-ка мой номер.

— О, нет, Гарик, нет. У меня всего тут три дня, а я хочу еще в Клин съездить, к маме.— Ее лицо, как прежде, было светлым и юным, только, пожалуй, немного усталым.

И вдруг он со страхом понял, что вот сейчас ее перед ним не станет. Не станет вот этих губ, этих глаз. Она уйдет. Навсегда уйдет от него. Уйдет из его жизни, как его юность и как любовь.

— Послушай, Лиля,— сказал он взволнованно.— Когда ты приедешь еще?

Она засмеялась:

— Вот будет еще метроном...

— Нет, не шути. Я серьезно. Когда ты приедешь? — Он быстро взял ее руку, хотелось ей говорить, говорить о чем-то.

Она отняла.

— погоди, я надену перчатку.

Из поезда хлынула публика. Их стали толкать.

— Ну, вот и все. Пойду,— улыбнулась она.— Надеюсь, ты устроишь своего чудесного пойнтера. Сейчас все так любят собак.

Она шагнула в толпу и уже над чьими-то головами слегка помахала рукой.

Народ слынул, а Анохин стоял у той же скамейки, какой-то опустошенный, потерянный.

И уже шагая размеренно к дому по Беговой и огибая грязные лужи, все повторял про себя: «Ламбушки... Ламбушки...» А он и не знал, что есть такое странное, такое ясное слово. Не знал, что отныне оно навсегда останется в нем и будет тревожить и волновать.

МАРЬИН ЦВЕТ

Михаилу Аркадьевичу Светлову

«Сто пятнадцатый! Сто пятнадцатый! Открываю сигнал! Выходите на главный путь! Сто пятнадцатый!» — громко, на всю станцию, объявил голос диспетчера из репродуктора.

И ему тотчас где-то впереди откликнулся гудок электровоза. Потом один из составов — товарняк с лесом — дрогнул и, нехотя погромыживая, стал лениво пробираться к восточной стрелке.

Когда хвостовой вагон миновал водокачку, какой-то сцепщик крикнул вслед:

— Нюска! Сердце-то вчера на танцах кому оставила?

Нюска в робе, в брезентовых брюках стояла на тамбурной площадке последнего уходящего вагона и держала в руке желтый промасленный флажок.

— А может, и тебе? — крикнула она.

Парень захохотал:

— Не больно-то надо.

Нюска хотела безразлично отвернуться, но не выдержала, показала кулак.

У входа на основной путь светофор горел зеленой точкой. Нюска посмотрела вперед. Приближалась будка стрелочника. И сам он, с флажком в руке, стоял у оградки и смотрел в сторону. Нюска быстро спустилась на ступеньки, держась одной рукой за поручень, повисла на подножке. Вот и будка все ближе. Вот хвостовой вагон миновал ее.

— Эй! Федор! — заорала она. — Чего ушел-то вчера?! Дождя испугался?

Но стрелочник отвернулся и, сунув флажки в сапог, пошел в будку. «Подумаешь, смирный какой вдруг стал». Нюска зло сощурилась, поднялась на площадку.

А будка удалялась, точно уплывала. Становилась все меньше и меньше. Уплывала и вся станция: депо, водокачка, вокзал. Уплывал огромный элеватор, блестевший на солнце цинковой крышей. Уплывали голуби в небе.

Который уж раз уплывало все это от Нюски!

Она опустила на глаза, чтобы не выгорали брови, пеструю косынку, лениво откинула дощатую лавку-сиденье, хотела сесть, и вдруг — по площадке, прямо ей под ноги, загремел тяжелый рюкзак. Нюска оглянулась.

Рядом с вагоном что есть сил бежала по шпалам девчонка. Старалась вскочить на подножку. Косынка упала на плечи, платье трепалось по ветру.

— Косынку держи! — крикнула Нюска.

Но девчонка, изловчившись, уже схватилась за поручни. Косынка взвилась в воздухе и понеслась под откос.

Нюска ахнула. А девчонка, еле переводя дух, по крутым ступеням поднялась на площадку.

— И не жалко? — спросила Нюска.

Девчонка молчала, растерянно глядя вдаль. Потом пригладила волосы. Нюска посуровела:

— Ты откуда это взялась такая?

— Из Зарайска, — ответила та.

Нюска рассмеялась:

— Откуда, откуда?!

— Город такой есть, — смущенно объяснила девчонка. — Недалеко от Москвы.

— Ого-о. — Нюска с любопытством оглядела ее — ничего особенного: босоножки рублевые, ноги в пыли и платье так себе, немодное. — А едешь куда?

— В Тайшет, — несмело улыбнулась девчонка.

— Так что ж, для тебя пассажирского, что ли, нет? — голос у Нюски строгий. — Не знаешь разве, посторонним на площадке ездить воспрещается?!

Девчонка отвернулась. Сказала в сторону:

— У меня деньги кончились. А тут близко.

Нюска помолчала. Смягчилась.

— Располагайся уж. — И, хлопнув лавкой, села. — Близко, да не очень. И через Тайшет мы проездом. Не остановимся. Чего я там с тобой делать буду?

— Да что вы?! — обрадовалась девчонка. — Я на ходу! Я уже прыгала!

Нюска опять с любопытством взглянула. Потом ногой пнула рюкзак под сиденье.

— Чего это тебя из центра в Сибирь-то манит?

Девчонка потупилась:

— Да я так. В гости.

— Хороша гостья, — с издевкой засмеялась Нюска. — На товарняке с лесом прикатит. — Помолчала. — Ты мне мозги не крути. Небось, на стройку, деңгу зашибать едешь?

— Ну что вы! Я правда в гости. — Девчонка смущенно улыбнулась. Села на край лавки. — А вообще-то, не знаю. Может, и насовсем. — И светлые, в белесых ресницах глаза ее засияли: «Может, и насовсем...»

Она смотрела вокруг. Все было солнечно и ярко. По одну сторону полотна взбирался на холм чистенький березовый лес, белоствольный и кудрявый. «Точно декорация на сцене», — весело подумала она. По другую сторону, под откосом, усыпанным цветами, тянулись поля зеленого хлеба. А еще дальше, над зубчатым лесным горизонтом,

в тихом небе висели мягкие облака. И девчонка видела, как одно из них, насквозь золотое, поднялось далеко вверх и будто смотрело вслед идущему на восток составу.

— А я вот здешняя. Сибирячка, — вздохнула Нюська. — Надоело все. — Она огляделась. Кругом тянулись опаленные сажей заросли польни, косяки берез. — Уехать бы куда подальше. Да вроде незачем. Платят хорошо.

— А я бы задаром по красоте такой ездила. — Девчонка смотрела вдаль и не могла насмотреться.

Нюська насупилась:

— А сейчас ты что, за деньги едешь?

Та притихла.

— И вообще повезло тебе, — тряхнула головой Нюська. — Все же я тут командую, старший кондуктор.

Девчонка с почтением покосилась:

— А младший кто?

— Нету младшего, — усмехнулась Нюська и вздохнула. — Одна я. Совсем одна.

— А дом далеко? — осторожно спросила девчонка.

— Тут рядом. За Байкалом. А толку-то что. — Нюська дернула плечами. — Неделями не бываю. Мать уж по мне извелась вся.

— А на другую работу нельзя разве? — сочувствовала девчонка.

— Чудная ты. Какой мне резон уходить? — Нюська вскинула брови. — Где столько зарабатываешь? А так нам с матерью, слава богу, хватает. Да и остается еще.

Она оживилась. Сняла с гвоздя большую лоскутную сумку. Стала быстро выкладывать на колени пакеты, свертки, бутылку с молоком. Наконец, достала со дна красивую обувную коробку:

— Вот. В Красноярске купила. Подарок к празднику.

Девчонка открыла крышку и замерла. Тонкие лаковые туфельки! С перепонками! Самые модные!

— Прелесть, — сказала она. — Это кому же?

— Себе, конечно. — Нюська невесело усмехнулась. — Сама не подаришь, никто не подарит... Да эти еще что! — Она стала укладывать все обратно. — В прошлый месяц я белые купила. Вот те, правда, мировые. Тоже модельные. Импортные.

Девчонка смотрела на темные, обветренные Нюскины руки — заметила кольцо. Обручальное кольцо. С любопытством спросила:

— У вас муж есть?

— Муж? — Не поняла Нюська. — У меня? — Но догадалась: — А-а-а, кольцо... Нет, это я так. Нарочно. Чтоб меньше приставали. — Она повертела кольцо на пальце. — А вообще красиво, правда? Золотое. Тоже сама купила.

Они помолчали. Где-то впереди загудел электровоз. И состав постепенно начал сбавлять ход.

Нюська поднялась, подошла к краю площадки. Далеко впереди у разъезда горел желтый сигнал светофора.

— Теперь встречного ждать, — недовольно сказала она.

Состав шел все медленней. И уже в сплошной полосе шиповника можно было различить отдельные кусты.

Девчонка прѣшла на другой край площадки. Посмотрела вниз. Шпалы мелькали реже и реже. И вот весь состав, лязгая сцепкой, замер.

Во внезапной тишине все словно остановилось: и алые цветы шиповника, и полынь у самых шпал, и травы на откосе.

— Ух, черт, — буркнула Нюська, — из графика бы не выбиться.

— Слушайте! — сказала вдруг девчонка. (Свой голос в этой тишине показался ей громким, чужим.) — Слышите? Жаворонок! — Она запрокинула голову.

И правда, в жарком небе звенящей точкой висел жаворонок. Кругом неумолчно трещали сверчки, кузнечики, пахло сеном, цветами, от вагонов тянуло свежей смолой.

— Здорово как! — Девчонка раскинула руки и прыгнула вниз, на полотно. Под ногами зашуршал гравий. Она шагнула к краю откоса и огляделась.

Мелкий лесок подступал к насыпи, оставив широкую луговину со стогами сена. По краю леса мальчишка гнал телят. Они разбрелись по кустам, их рыжие и белые бока мелькали среди зелени.

Девчонка спустилась вниз по откосу в высокую траву. Видно, недавно здесь прошел дождь, потому что трава и цветы были еще мокры. И колокольчики, и ромашки, и какие-то красные звездочки, и белые лилии пахли необычно и удивительно. Девчонка быстро сорвала цветок. Потом другой, третий...

— Не очень-то разгуливай там, — предупредил сверху Нюскин голос.

А девчонка рвала еще и еще. И уже целый букет этих мокрых, свежих цветов благоухал сладко ипряно. Среди травы она наткнулась на фарфоровую, с отбитым краем чашку электроизолятора, полную дождевой воды. Присела и напилась.

— Скорее давай! — крикнула сверху Нюська. — Встречный идет.

Из-за поворота цепочкой темных бус выползал поезд.

С букетом в руках девчонка быстро поднялась на полотно. Забралась к Нюське на площадку.

Впереди опять загудел электровоз. И тотчас ему отозвался встречный. Состав с лесом лязгнул и тронулся. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее.

И опять поплыли опоры. И опять придорожный шиповник слился в одну сплошную зеленую полосу.

Девчонка держала букет у груди.

— Не знаете, как вот эти называются?— Она показала на красные большие цветы.

Нюська усмехнулась:

— Что мне, делать нечего? Я вообще их не люблю. У меня от них голова болит,— и ушла на край площадки.

Ветер привычно хлестнул ей в лицо. Рванул концы косынки. Задрожали, зазвенели в ушах стеклянные, как маленькие люстры, сережки. Нюська сощурилась, поглядела вперед. Навстречу медленно шел тяжелый состав с нефтью. Его электровоз приближался, не переставая гудеть. И вот уже, стуча и громокая, замелькали мимо пятидесятитонные цистерны. Пахнуло нефтью.

Девчонка с восторгом и страхом смотрела на Нюську, а та неторопливо достала из-за голенища желтый флажок и, держа его в вытянутой руке, встала на самый край площадки. И ветер трепал по ногам ее нескладные брюки, пузырем надувал куртку.

Когда же прогромыхал мимо последний вагон, на тормозной площадке встречного парень-кондуктор в брезентовом плаще махнул девчонкам рукой.

Нюська засмеялась:

— Ишь, фрайер! — и тоже помахала.

Тогда кондуктор, уже издали, послал воздушный поцелуй. Нюська усмехнулась:

— А все же негодяи, парни. Ненавижу их всех.

Девчонка вскинула голову.

— Им чуть улыбнись,— продолжала Нюська,— они и рады. С поцелуями лезут. А мы, дуры, верим. Думаем, любит... Нельзя верить!

— А если правда любит?— Девчонка тревожно смотрела на Нюську.

— Ну как же, лю-у-бит,— передразнила та и с силой хлопнула флажком по брюкам.— Где ты видела ее? Любовь-то? В книжках небось?

— Ну что вы!— Девчонка недоверчиво улыбнулась. Отошла к барьеру.— Как же без любви? Тогда и жить нельзя.

— Чего-о-о?— Нюська расхохоталась, потом с вызовом вскинула голову:— По-твоему, я не живу, что ли? Или вон мать моя? Ее отец мой бросил, когда ей двадцать было, а мне — полтора. Так и живем вдвоем.— Она вздохнула:— Зелень ты еще неполая, вот кто. Жизни не знаешь.

Но девчонка молчала. И в глазах ее, открытых, светлых глазах,плыли холмистые поля, стайки кипучие берез, неведомые сосняки и веселое небо, все в солнце и облаках.

— А я вот к нему в гости еду,— задумчиво улыбнулась она, разглядывая цветы.— А может, и насовсем.

— Что? К парню едешь?!— Нюська оторопела. И громче:— Сама? К парню?

— Ага,— тихо кивнула девчонка.

Состав, громыхая длинной, подвижной лентой вагонов, вполз на мост. Вагон затрясло на стыках.

Нюська схватила девчонку за плечо, закричала:

— Ты сумасшедшая! Ехать к чужому! А вдруг обманет?!

По сторонам и над их головами пронеслись стальные балки. Под вагоном стучало. Цветы в руках подрагивали.

— Нет,— сказала девчонка.

«Не-е-ет!!!» — повторил гул по мосту.

— А ты, дура, веришь?! — смотрела ей в глаза Нюська.— Веришь?

— Верю,— улыбнулась девчонка.

«Ве-е-ерю!!!» — загрохотало и раздробилось в ригелях. Голос полетел куда-то вниз, где поблескивала река. И Нюська отступила в удивлении.

Оборвался шум как-то сразу. После грохота на мосту совсем неслышным показался теперь стук колес.

— Он письмо мне прислал.— Наклонившись, девчонка порылась в рюкзаке, протянула конверт: — Вот. Тут и адрес его. Может, знаете?

Нюська молча взяла конверт. Тихо опустила на лавку.

— Это рядом с вокзалом, сразу найдешь.— Из конверта достала четверо сложенный исписанный лист. Разложила на коленях. Стала читать.

Читала медленно, не отрывая глаз.

А состав с лесом спешил по залитой солнцем равнине. Мимо поездов и подстанций, мимо речушек и косогоров. И девчонка видела, как шпалы на насыпи, словно перекладыны лестницы, вереницей убегали назад. Нюська сложила письмо, попросила тихо:

— Подари мне его.

— Зачем? — удивилась девчонка.

— Просто так,— опустила Нюська глаза.— На память.

Девчонка не отвечала.

— Ну да ладно.— Нюська вернула письмо.— Такое самой нужно.

Она помолчала. Поглядела на спутницу. На ее пыльные ноги, на облупленный нос, на цветы.

Потом, сунув руку в карман, достала зеркальце. Погляделась. Она была загорелая, с обветренными губами и сережками в ушах. Из того же кармана достала спичечный коробок. Выдвинула. В нем была пудра. Несколько раз Нюська провела ваткой по носу, задумалась...

...Когда товарняк с лесом подходил к Тайшету, уже полыхал закат и небо на востоке темнело. Мимо плыли окраинные домики, палисадники. То здесь, то там мерцали огни.

Девчонка стала собираться. С помощью Нюськи натянула рюкзак на спину, оправила платье, пригладила волосы. Нюська строго оглядела ее — платье измято, волосы встрепаны. Только цветы в руках хоть и привяли, а пахли нежно и сладко.

— Куда же ты такая?— сокрушенно сказала она.— И без платка,— и, сняв с головы свой, протянула девчонке.

— Ну что вы!— смутилась та.— Он же шелковый.

— Надевай, надевай,— махнула рукой Нюска.— Да поскорей. Некогда.

Девчонка повязалась.

А состав, чуть сбавив ход, уже спешил мимо западной стрелки, мимо депо, мимо пыхтящего маневрового.

— Ну, пора,— сказала Нюска.— Улица сразу за вокзалом. Направо. Не заблудишься.

Девчонка с букетом опустилась на ступени.

— Ну, прыгай! Вперед прыгай!— скомандовала Нюска.

И девчонка ловко спрыгнула. Пробежав, остановилась. Помахала рукой.

Состав уходил все дальше и дальше. И на его последней, тормозной площадке уезжала Нюска-кондукторша. Она стояла, подняв оброненный девчонкой красный цветок, и думала: «Красивый какой... Да ведь это же марьин цвет! Их так много вокруг... А я и не видела...»

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Евразия	3
Скатилося колечко	16
За деревом было солнце	26
А какой сегодня день?	30
Южак	39
Ламбушки	51
Марьин цвет	58

Ирина Евгеньевна Ракша

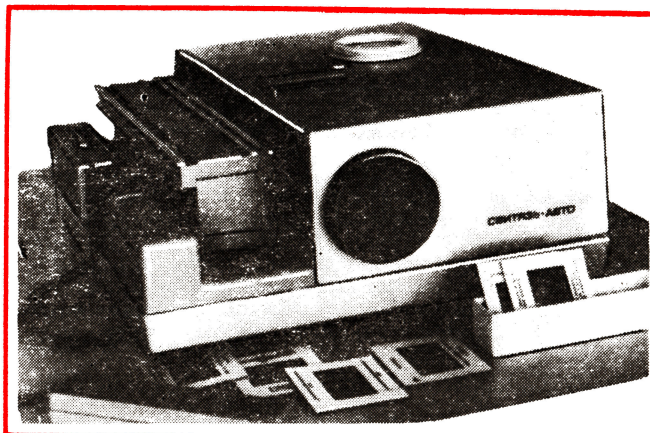
А КАКОЙ СЕГОДНЯ ДЕНЬ?

Редактор **Е. Ф. Олейник**.

Технический редактор **Е. Н. Щукина**.

Сдано в набор 26.06.81. Подписано к печати 01.09.81. А 00417.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,80. Учетно-изд. л. 4,20.
Тираж 100 000 экз. Изд. № 1806. Зак. № 900. Цена 25 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.



ПОКАЗЫВАЕТ «СВИТЯЗЬ»!

Любые диафильмы и нужные диапозитивы вы всегда сможете просмотреть при помощи автоматического диапроектора «Свитель-авто».

При работе с ним смена диапозитивов производится автоматически, с помощью пульта дистанционного управления или нажатием кнопки на диапроекторе.

Подфокусировка объектива при демонстрации автоматическая, от пульта дистанционного управления. Проекционный объектив — «Триплет».

Цена диапроектора — 180 руб.

ЦРКО «Рассвет»
ТЕЛЕПРЕССТОРГРЕКЛАМА

